84.4 Фр
Б75

БВП

БИБЛИОТЕКА ЗАРУБЕЖНОГО ПОЭТА

ШАРЛЬ БОДЛЕР

Стихотворения в прозе
(Парижский сплин)
Фанфарло
Дневники

БИБЛИОТЕКА ЗАРУБЕЖНОГО ПОЭТА

ГОД ОСНОВАНИЯ СЕРИИ
2005

Редакционная коллегия серии
В. Н. Андреев, Б. В. Дубин,
М. Ю. Коренева, Г. М. Кружков,
И. М. Михайлова, М. Д. Яснов (*председатель*)

ШАРЛЬ БОДЛЕР

Стихотворения в прозе (Парижский сплин) Фанфарло Дневники

Перевод с французского, комментарии
Е. В. Баевской

Вступительная статья
М. Д. Яснова

Санкт-Петербург
«НАУКА»
2011

УДК 82-1
ББК 84(4)
Б 75

Шарль Бодлер. Стихотворения в прозе (Парижский сплин). Фанфарло. Дневники / Пер., коммент. Е. В. Баевской. — СПб.: Наука, 2011. — 249 с.

ISBN 978-5-02-025412-1

В настоящем издании представлены три произведения Шарля Бодлера, в которых сфокусированы три его принципиальных эстетических и этических принципа: мифология поэзии и жизни («Парижский сплин»), дендизм («Фанфарло»), философия отчаяния («Дневники»). Все тексты, целиком или фрагментарно, относятся к жанру стихотворений в прозе; это традиция, ведущая от библейских версетов до ближайшего предшественника Бодлера — Алоизиюса Бертрана. Она аккумулировала все, что способствовало освобождению от классической просодии, стирало грани между поэзией и прозой и расширяло между ними «зоны влияния». То, как впоследствии французская традиция распорядилась этим жанром, свидетельствует: стихи в прозе оживали, обретали дыхание и своеобразие именно тогда, когда в них самих оживал город, Париж, когда урбанизм превращался в поэтическую философию новой литературы. «Человек толпы», человек, чья «страсть и призвание в том, чтобы слиться с толпой» и понять ее, — таким видел себя Бодлер.

© Издательство «Наука», серия «Библиотека зарубежного поэта» (разработка, оформление), 2005 (год основания), 2011
© Е. В. Баевская, перевод, комментарии, 2011
© М. Д. Яснов, составление, статья, 2011

ISBN 978-5-02-025412-1

ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ

Жан-Поль Сартр называл Бодлера греческим словом «гэаутонтиморуменос» — «сам себя истязающий». Собственно, слово это ввел сам Бодлер в одном из стихотворений «Цветов зла». Пожалуй, в истории новейшей европейской культуры трудно припомнить писателя, который смог воплотить тотальное чувство неудовлетворенности так, как это сделал Бодлер, — с такой болью и с такой проницательностью. В 1861 году в одном из писем к матери он писал: «Бездна страданий, которые я испытываю уже *около тридцати лет*, оправдали бы меня». Речь шла о его возможном самоубийстве.

Недолгая и мучительная жизнь, долгое и мучительное умирание, не слишком большое по объему, но невероятно насыщенное идеями и прозрениями литературное наследие — вот итог этой незаурядной судьбы.[1]

В настоящем издании представлены три произведения Шарля Бодлера, в которых сфокусированы три его

---

[1] Из современных, наиболее полных изданий Шарля Бодлера на русском языке следует отметить его двухтомное собрание сочинений, вышедшее в Харькове в 2001 году (составитель Е. Витковский), книгу «Стихотворения. Проза» (М., 1997), а также выпущенную в Москве в 1993 году книгу «Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники» с приложением эссе Ж.-П. Сартра «Бодлер». Во вступительной статье Г. К. Косикова к этому изданию дается насыщенный анализ жизни и творчества французского поэта.

принципиальных эстетических и этических принципа: мифология поэзии и жизни («Парижский сплин»), дендизм («Фанфарло»), философия отчаяния («Дневники»).

Все тексты, помещенные в этой книге целиком или фрагментарно, относятся к стихотворениям в прозе — даже новелла «Фанфарло», изготовленная по рецептам романтической кухни, пестрит фразами и периодами, которые то и дело «накатывают», как пишет автор, на его героя и кажутся перенесенными сюда из «Парижского сплина»; что до «Дневников», то многие записи в них представляются маленькими шедеврами из рода стихотворений в прозе, — они эмоциональны, метафоричны и кратки, что как раз и свойственно именно этому жанру: «Все эти признаки лиризма традиционны в поэзии, но не традиционны в прозе и поэтому в ней особенно ощутимы и действенны».[2]

В предисловии-посвящении к «Парижскому сплину» Бодлер впрямую называет своего основного предшественника: «Перелистывая по меньшей мере раз в двадцатый знаменитого „Гаспара из тьмы“ Алоизиюса Бертрана... я загорелся мыслью сам попробовать нечто в том же роде, но способ, которым он запечатлел столь странную и живописную старину, применить к описанию современности или, вернее, к описанию более абстрактной жизни *одного* современника». Конечно, к «Гаспару из тьмы» (1842) вела уже довольно длительная и оформившаяся традиция того литературного жанра, который с легкой руки Бодлера стал называться «стихотворениями в прозе», — от библейских версетов до многообразных попыток поэтизации прозы в творчестве французских романтиков. В эту традицию вливалось все, что способствовало освобождению от классической просодии, все, что стирало грани между поэзией и прозой и расширяло между ними «зоны влияния» — вплоть до Алоизиюса Бертрана, впервые собравшего стихи в прозе в отдельную книгу.

---

[2] *Гаспаров М. Л.* Русские стихи 1890-х—1925-го годов в комментариях. М., 1993. С. 12.

Бодлер перенес свои «фантазии» в современность, в современный ему город, в уединенность среди толпы, обнаружив для этого новый поэтический язык, адекватный для определения места «проклятого» поэта в художественной картине действительности.

Самарий Великовский, замечательный исследователь французской поэзии, нашел поэтическую формулу «современности» Бодлера: «невыносимо скверное повседневье». Стихи в прозе по-своему выражали и компенсировали эту невыносимость быта и бытия: «В истории самосознания лириков Франции, их философии своего дела и извлекаемых отсюда установках письма сверхзадача бодлеровских „стихотворений в прозе“ — весьма крутой сдвиг, даже переворот. Именно здесь воплощена со всей завершенностью — по-своему последовательнее, чем в „Цветах зла“, — посылка Бодлера, согласно которой красота в искусстве, получаемая при переплавке житейской „грязи“, дотоле отталкивавшей своей неказистостью, в „золото“ самой высокой пробы, всегда исторична и неповторимо личностна».[3]

Основное событие стихотворений в прозе Бодлера, его «первопроходчество» — тема города, фланерство, дисгармония человеческих отношений «внутри» толпы, выражением чего и становится сплин (Жюль Лафорг писал о Бодлере как об узнике столицы, измученном «тиранией пивных»), — открывает в участи случайного прохожего всю множественность чужих судеб, с которыми поэт вольно или невольно ассоциирует себя, растворяясь, как в поэтической плазме, в городских приметах и деталях. «Человек толпы», человек, чья «страсть и призвание в том, чтобы слиться с толпой», — таким видел себя Бодлер, таким он описал свой идеал в статье «Поэт современной жизни». Поэтическая энергетика прозы, замешанная на язвительной иронии, — вот что питает его фантазию.

---

[3] *Великовский С.* Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. М., 1999. С. 296.

Именно «Философскими фантазиями» сначала назывался «Парижский сплин» — подобный сплав рационального с игрой воображения всегда был по сердцу французским поэтам. Однако, определяя замысел книги, автор сделал существенное дополнение: «философские фантазии парижского праздношатающегося». То, как впоследствии французская традиция распорядилась этим удивительным жанром, свидетельствует: стихи в прозе оживали, обретали дыхание и своеобразие, как правило, именно тогда, когда в них самих оживал город, Париж, когда урбанизм превращался в поэтическую философию новой литературы. Выхваченные из городской толпы лица, из городской жизни — детали, из городского говора — слова становились главными элементами этой поэтики.

Почувствовать это, как никому, дано переводчику — неспроста, например, Вильгельм Левик, плодотворно переводивший стихи Бодлера из «Цветов зла», писал о нем: «Город, большой цивилизованный город, его жизнь, его уродство и красота, чудовищные контрасты нищеты и богатства, великих творений человечества и его преступлений и пороков — вот то, что зачаровало душу Бодлера, воспитало его талант, определило его своеобразие и вместе с тем вошло в литературу и искусство. Эта новая тема, новое идейное богатство, которое она принесла, породили и новую поэтику, новый образный строй, а с ними появились и новые слова, новые пейзажи, дотоле неведомые».[4]

А чуткий к слову Теофиль Готье, одним из первых откликнувшийся на «Парижский сплин», замечал в 1868 году: «...одна фраза, одно-единственное слово, капризно выбранное и помещенное, вызывало целый неведомый мир забытых, но милых образов, оживляло воспоминания прежнего далекого существования и заставляло предчувствовать вокруг таинственный хор угасших идей, шепчущих вполголоса среди призраков беспре-

---

[4] *Левик В.* «Он жил во зле, добро любя» (Заметки о поэзии Бодлера) // Вопросы литературы. 1964. № 7. С. 168—169.

станно отделяющихся от мира вещей». Готье писал о Бодлере, что тот «схватил и уловил нечто не поддающееся выражению, передал беглые оттенки, занимающие среднее место между звуком и цветом».[5]

Правда, сам Бодлер в своих дневниковых записях был далек от какого бы то ни было идиллического флера: «Затерянный в этом гнусном мире, затертый и помятый людскими толпами, я подобен измученному человеку, который, озираясь назад, в глубь годов, видит лишь разочарование да горечь, а глядя вперед — грозу, не несущую в себе ничего нового, ни знания, ни скорби». Так складывается образ «бодлеровского сплина», вошедший в историю европейской литературы и культуры.

О сплине и поэтическом его выражении — стихах в прозе — следует сказать особо как именно о бодлеровской традиции в литературе. Французская поэзия полюбила этот колеблющийся смысл, болезненный подтекст жизни и речи — все то, что проявилось и узаконилось в самом слове «сплин» как символе нового литературного явления. Наследники Бодлера, прежде всего «проклятые поэты» и символисты, настолько внедрили стихотворения в прозе в лирику, что стали невольными (а нередко и сознательными) пособниками вытеснения классического стиха с литературной сцены. Лотреамон (открытый только в конце XIX века), Артюр Рембо, Шарль Кро, Жюль Лафорг, Жорис-Карл Гюисманс, Стефан Малларме создали значительные произведения в этом жанре; кажется, ни один из символистов не прошел мимо него и каждый по-своему интонировал и интерпретировал открытия Бодлера.

Близок к нему оказался и Поль Верлен в своих «Записках вдовца». В 1911 году, представляя русскому читателю их издание в переводе С. Рубановича, Валерий Брюсов отмечал, что «это частью картинки парижской и сельской жизни, частью маленькие повествования, сжатые и острые, в манере „стихотворений в прозе“... На

---

[5] *Готье Т.* Шарль Бодлер // *Бодлер Ш.* Цветы зла и Стихотворения в прозе в переводе Эллиса. Томск, 1993. С. 54, 56.

всем очень определенно чувствуется влияние „Стихотворений в прозе“ Бодлера, которого Верлен всегда высоко чтил».[6] Брюсов обронил: «в манере» — то есть подтвердил, что жанр уже традиционен.

Отзвуки бодлеровской прозы в стихах зазвучали и позже — в поэтической прозе Аполлинера: в 1918 году вышла книга его парижских эссе «Слоняясь по двум берегам», французское название которой — «La flâneur des deux rives» — отсылало к одному из рабочих названий «Парижского сплина» — «Парижский фланер». Вскоре после этого сюрреалисты окончательно утвердили один из основных принципов Бодлера: поэзия разлита повсюду и может принимать любые формы, вовсе не обязательно высказанные в стихотворной речи. Стихотворения в прозе вывели французскую поэзию и шире — литературу на новую дорогу, которую принялись осваивать и русские переводчики.

Осознание этой задачи оформилось уже в 80-е годы XIX столетия, когда появились первые серьезные переводы из «прозаического» Бодлера, принадлежащие Д. С. Мережковскому. Вот характерное предисловие Мережковского к публикации этих его переводов: «Шарль Бодлер — один из выдающихся представителей современной французской поэзии. У нас в России его произведения пользуются сравнительно небольшой известностью. Для предлагаемого перевода я воспользовался лучшими пиесами из IV тома собраний его сочинений, озаглавленного „Petits poemes en prose“, т. е. „Стихотворения в прозе“. Помимо изящества формы и новизны содержания, эти „стихотворения“ имеют для русского читателя еще тот специальный интерес, что в них можно найти если не образец для известных очерков И. С. Тургенева под тем же названием, то по крайней мере явление вполне однородное. Несмотря на то, что у нас привыкли приписывать Тургеневу изобретение этой своеобразной и высокохудожественной формы, справед-

---

[6] *Брюсов В.* Как предисловие // *Верлен П.* Записки вдовца. М., 1911. С. XI.

ливость заставляет возвратить честь этого открытия талантливому французскому поэту, так как „Petits poemes en prose“ Ш. Бодлера были написаны значительно раньше, чем „Стихотворения в прозе“ Тургенева. Но во всяком случае то обстоятельство, что два писателя с такими глубоко различными направлениями творчества, как Тургенев и Бодлер, встретились в выборе одного и того же литературного приема, до них не употреблявшегося, может послужить доказательством, что он имеет за собой будущность».[7]

Проблема «Бодлер — Тургенев» важна для понимания того, как бытовал жанр стихотворений в прозе на русской почве. Первым переводчикам «Стихотворений в прозе» Бодлера так или иначе приходилось учитывать опыт Тургенева; более того, нередко они и ориентировались на этот опыт. Романтическая эмоциональная лексика, приподнятый стиль, описательность и подчеркнутая сентиментальность характерны для тех переводов, что создавались в конце XIX и начале XX столетия, — будь то переводы О. Ниловой, в 90-е годы печатавшиеся в «Живописном обозрении» и «Новом журнале иностранной литературы», или выходившие отдельными книжками переводы А. Алябьева (1899), А. Александровича (1902), М. Волкова (1909). Нам ничего не говорят имена этих второстепенных литераторов. Судя по всему, талант их был невелик, но само желание донести до русского читателя труднейшие тексты Бодлера заслуживает уважения.

В 1909 году вышло еще одно издание «Стихотворений в прозе», под редакцией Л. Гуревич и С. Парнок. Л. Я. Гуревич, в те годы видный литератор и общественная деятельница, предварила книгу статьей, в которой отмечала, что «эта вереница небольших, законченных, столь разнородных по содержанию пьес, с таинственными или неожиданными заглавиями, которые поэт так любил, удивительно отражает душу Бодлера».[8] Аноним-

[7] Изящная литература. 1884. Т. X. С. 141—142.

[8] *Гуревич Л.* Бодлер и его творчество // *Бодлер Ш.* Стихотворения в прозе. СПб., 1909. С. XXVI.

ные переводы, сделанные, как указывается в статье, «несколькими лицами, которые из любви к Бодлеру не жалели времени на эту работу», подводят итог первому периоду освоения бодлеровских стихов в прозе русской литературой.

Книга Бодлера, как известно, заканчивается поэтическим эпилогом, терцинами, — они впервые были переведены для издания 1909 года В. Волькенштейном, впоследствии драматургом и теоретиком театра. Выпавшие из поля зрения историков перевода, эти стихи заслуживают того, чтобы мы о них вспомнили, — в них сфокусированы особенности всего перевода в целом:

Я в гору поднялся с душою просветленной.
Весь город в полноте внизу я видеть мог,
Ад и чистилище, больницы и притоны,

Где все безмерное раскрылось, как цветок.
Ты знаешь, Сатана, тоски моей владыка,
Я от напрасных слез там был всегда далек;

Шел опьяняться я блудницею великой,
Как дряхлый любодей любовницей седой,
И адской прелестью я оживлялся дико.

Ты спишь ли поутру, под мглистой пеленой,
С хрипеньем, грузная, иль вечер заискрится —
И ты красуешься в одежде золотой,

Люблю тебя, люблю, о грешная столица!
Преступники, вы нам даете наслажденье,
Которое уму обычному не снится.

Для всех ранних переводов «Стихотворений в прозе» характерна такая неустоявшаяся лексика, метание между приукрашенным, усредненным и приземленным словом. Даже у Эллиса, чей перевод был опубликован в 1910 году и на долгое время стал классическим, немало пассажей, которые сегодня кажутся архаическими, «калькированными» с французского оригинала, а потому невнятными, а то и малохудожественными. И все же, страстный поборник символизма, Эллис с наибольшей

энергией воплощал именно те бодлеровские «пьесы», которые естественнее всего совпадали с его символистским мировоззрением, — «Confiteor художника», «Двусмысленная комната», «Толпы», «Приглашение к путешествию», «Великодушный игрок», «Благодеяния Луны»... Эллису удавалось создавать показательные примеры русской поэтической прозы, когда французский оригинал призывал и позволял восхищаться — неожиданным словом, городским пейзажем, ярким характером или женской красотой.

«Город изнемогает под зноем отвесных и грозных лучей солнца; песок ослепителен, и море переливает отсветами. Оцепеневший мир в трусливом расслаблении предается послеобеденному сну, похожему на род сладостной смерти, в которой спящий впивает на границе сна и яви блаженство своего уничтожения.

Между тем Доротея, сильная и гордая, как солнце, шествует по пустынной улице, единственно живая в этот час под необъятной лазурью, образуя на фоне света блестящее черное пятно...» («Прекрасная Доротея»).

Не менее убедителен Эллис в воссоздании тончайших бодлеровских нюансов — сквозящих друг в друге деталей быта и метафор поэтического сознания: «Кто глядит снаружи в открытое окно, никогда не увидит там всего того, что видит тот, кто смотрит сквозь закрытое окно. Нет ничего глубже, таинственнее, плодотворнее, мрачнее и ослепительнее окна, освященного изнутри свечой. То, что можно видеть на солнце, всегда гораздо менее интересно, чем то, что творится за оконным стеклом. За этой черной или освещенной дырой живет жизнь, грезит жизнь, страдает жизнь» («Окна»).

Помимо «Стихотворений в прозе» Эллис перевел почти все «Цветы зла», однако творческий кризис, который он пережил в 1913 году, прервал его художественную деятельность.

Долгие десятилетия переводы Эллиса оставались чуть ли не образцовыми в русской бодлериане. И долгие десятилетия советские переводчики практически не обращались к жанру стихотворений в прозе. Здесь сказа-

лись не столько идеологические, сколько эстетические запреты: сам жанр казался упаднического, чуть ли не вырожденческим, буржуазным. И пока французская поэзия вслед за Бодлером осваивала те пограничные между стихом и прозой области, которые в наше время превратились в мощное поэтическое государство, русская поэзия форсировала рифмованный стих, в лучшем случае изредка обращая внимание на метрическую и рифмованную прозу.

С более чем полувековым опозданием стали известны широкому читателю избранные переводы из «Стихотворений в прозе» Бодлера, которые в 1928 году печатались в парижской газете «Возрождение» и принадлежали В. Ходасевичу. Эти тринадцать переводов свидетельствуют о новом взгляде на жанр. Для Эллиса на первом месте были эстетические поиски и завоевания Бодлера, для Ходасевича — личный жизненный опыт поэта. «Ходасевич переводил не только близкие ему по духу тексты, — отмечал, представляя эти переводы, Вяч. Вс. Иванов, — он встретился с подобием собственного пережитого опыта. Оттого-то зеркало, в котором по-русски отразился бодлеровский „Сплин“, так поразительно верно. ⟨...⟩ Если сам Париж у Бодлера — зеркало его „Сплина“, то Ходасевич сличал друг с другом город и поэта, переводил одного и другого. Подлинник был в нем самом».[9]

Кто бы ни брался за эту работу — Дмитрий Мережковский или Эллис, Владислав Ходасевич или авторы современных интерпретаций, все они помимо чисто поэтических задач решают главную: максимально точно и убедительно с позиций своего времени передать суть той поэтической мифологии, той «навязчивой идеи», которая так мучительно и вдохновенно вела Бодлера по жизни. «Русский сплин» Шарля Бодлера оказался знаковым в истории русской культуры XX столетия, подготовив сегодняшнее осмысление бодлеровского творчества и его центральных идей.

---

[9] *Иванов Вяч. В.* Бодлер перед зеркалом // Иностранная литература. 1989. № 1. С. 139.

В новелле «Фанфарло», впервые переведенной на русский язык, Бодлер художественно сформулировал свое понимание «дендизма» как основного «жизненного» воплощения его теоретических представлений о позиции художника, затерянного, как он писал на страницах дневника, в гнусном мире, затертого и помятого людскими толпами. Почти одновременно с Бодлером культ дендизма был обоснован французским писателем, впоследствии автором знаменитых «Дьявольских повестей» Жюлем Барбе д'Орвийи. В середине 40-х годов он выпустил книгу «О дендизме и Джордже Браммеле», в которой дендизм показан не просто как форма жизни, но прежде всего как форма мышления. Поэтому, по словам современного исследователя, этот дендизм «означает вызов всем, в том числе и „свету", его отличает не столько внешний характер (манера одеваться, круг знакомств и т. п.), сколько внутренний: моральная позиция, душевный настрой, определенная философия жизни, в основе которой — сознание своего превосходства над ничтожным обществом. Отсюда — презрение к окружающим, высокомерная привычка ничему не удивляться и стремление вообще не проявлять чувств, кроме пресыщенности и скуки».[10]

В определенном смысле таков герой «Фанфарло» Самюэль Крамер. Бодлер наделяет его сгустком отрицательных качеств, не без самолюбования списывая некоторые из них с себя: «великий бездельник, жалкий честолюбец и блистательное ничтожество», «существо болезненное и фантастическое, чья поэзия блистает куда ярче в его индивидуальности». Вместе с тем в образе Крамера Бодлер запечатлел то, что больше всего мучило его самого, — попытку примирить идеал настоящего денди, холодного и высокомерного скептика, и живого человека, импульсивного и страстного.

Собственно, Бодлер написал маленький «роман чувств», легко укладывающийся в романтическую тра-

---

[10] *Соколова Т. В.* Загадка Барбе д'Орвийи // *Барбе д'Орвийи Ж.* Дьявольские повести. СПб., 1993. С. 491.

дицию французской литературы, с поправкой на тот современный ему скептицизм, на который он острее всего реагировал как художник. В этом смысле вся новелла изобилует блестящими психологическими сценами, наподобие такой: «Некоторое время он молча смотрел на нее, напустив на себя самый что ни на есть растроганный и елейный вид; жестокий и лицемерный комедиант гордился этими прекрасными слезами; они ему представлялись его произведением, его литературной собственностью. Он заблуждался относительно тайного смысла этой скорби, а г-жа де Комелли, утопая в искреннем отчаянии, точно так же заблуждалась относительно значения его взгляда. Два заблуждения повели странную игру, и в ее итоге Самюэль Крамер решительно протянул даме обе руки, в которые она нежно и доверчиво вложила свои руки».

В другом месте Бодлер пишет о Крамере, что того «только невозможное и заботило». Невозможное для Бодлера возникало при столкновении идеала и сплина, восторга и ужаса. Однажды он так и записал в дневнике: «Совсем еще ребенком я питал в своем сердце два противоречивых чувства — ужас перед жизнью и восторг жизни». Если вспомнить другую его запись: «Гений — это четко сформулированное детство», можно представить себе путь «взросления» этого ужаса, этих восторгов. Бодлеровские дневники — образец не только исповедальной прозы, близкой лирическому высказыванию; прежде всего это афористически сформулированные тезисы, относящиеся к основным областям его духовной жизни. Это подлинная философия отчаяния, не оставляющая камня на камне от какой бы то ни было благонамеренности. В одном из очерков об Эдгаре По Бодлер указывал, что в писателе «*любопытны* такие три черты: 1 — *собственный* метод; 2 — *удивительное*; 3 — пристрастие к философии».

Бичующие афоризмы Бодлера можно без конца выписывать: «Бог есть соблазн, приносящий доход», «Священники — слуги и фанатики воображения», «Любовь очень похожа на пытку или хирургическую операцию»,

«В политике истинный святой тот, кто бичует и избивает народ для его же блага», «Узнать — значит войти в противоречие с самим собой», «На злодеянии можно основать победоносную державу, на лжи — высоконравственную религию»... Слово «нравственность» у этого «самого безнравственного» французского поэта возникает неоднократно, под высокой нравственностью он зачастую понимал вовсе не то, что понимали окружающие, и это этическое противоречие вело к трагедии. «В литературе, как в нравственности, утонченность несет нам угрозу и в то же время служит к нашей чести, — писал он в статье о Теофиле Готье. — Собственно разум стремится к истине, вкус открывает нам красоту, а нравственное чувство учит долгу».

Дневники Бодлера — редкое сочетание предельной обнаженности души, детской беззащитности и чуть ли не изуверского самоанализа. И постоянное желание не поддаться безволию, но сконцентрировать все возможные силы в творчестве, в кропотливом труде, противопоставленном всем отвратительным обстоятельствам жизни.

Читая поэтическую прозу Бодлера, невольно задаешься вопросом: почему, собственно, она сегодня так притягательна, чем созвучна современным настроениям и почему в сегодняшней России слово Бодлера звучит на такой щемящей ноте? Скорее всего потому, что Бодлер всю жизнь решал этические проблемы и эстетические задачи, которые сегодня выходят на первый план и в нашей жизни, ибо «понять Бодлера означает, быть может, найти ключ к целому пласту современной европейской культуры».[11]

Однажды он заметил: «Если поэт испросит у государства права держать у себя в конюшне нескольких буржуа, все очень удивятся, а вот если буржуа попросит себе на обед зажаренного поэта, все вос-

---

[11] *Косиков Г. К.* Шарль Бодлер между «восторгом жизни» и «ужасом жизни» // *Бодлер Ш.* Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. М., 1993. С. 5.

примут это как должное». Конкретное высказывание не требует комментариев, хотя сам Бодлер в целом нуждается в пространном комментировании. И не только ради прояснения ушедших в прошлое реалий, но прежде всего для построения литературной перспективы. Все-таки, хотя и с оглядкой назад, хочется смотреть вперед — в надежде на самое серьезное участие бодлеровского опыта в нашей жизни.

Михаил Яснов

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

(Парижский сплин)

Арсену Уссе[1]

Дорогой друг, посылаю вам небольшую работу, о которой несправедливо было бы сказать, что у нее нет ни хвоста, ни головы, потому что вся она, напротив, сама по себе — сплошной хвост и в то же время сплошная голова. Прошу вас принять во внимание, какие восхитительные возможности открывает эта комбинация всем нам — вам, мне и читателю. Мы можем оборвать, как только захотим: я — свои мечты, вы — рукопись, читатель — чтение, ибо я не цепляю строптивую волю читателя к бесконечной нитке избыточной интриги. Уберите один позвонок — и два куска этой извилистой фантазии сомкнутся как ни в чем не бывало. Нарубите ее на множество фрагментов — и увидите, что каждый из них может существовать отдельно. В надежде, что некоторые из этих обрубков окажутся достаточно живыми, чтобы понравиться вам и позабавить вас, осмеливаюсь посвятить вам змею целиком.[2]

Здесь я должен сделать вам небольшое признание. Перелистывая по меньшей мере раз в двадцатый знаменитого «Гаспара из тьмы» Алоизиюса Бертрана[3] (разве нельзя с полным правом назвать «знаменитой» книгу, известную вам, мне и горстке наших друзей?), я загорелся мыслью сам попробовать нечто в том же роде, но способ, которым он запечатлел столь странную и живописную старину, применить к описанию современности

или, вернее, к описанию более абстрактной жизни *одного* современника.

Кто из нас в пору честолюбия не мечтал о чуде поэтической прозы, музыкальной, хоть и лишенной ритма и рифмы,[4] достаточно гибкой и порывистой, чтобы отвечать лирическим движениям души, извивам мечты, встряскам сознания?

Этот навязчивый идеал более всего есть детище огромных городов, переплетения бесчисленных связей, которые в них возникают. Да разве вы сами, любезный друг, не пытались переложить в *песенку* пронзительный вопль «Стекольщика»[5] и выразить в лирической прозе все безнадежные намеки этого вопля, взлетающие до самых мансард, выше даже уличного тумана?

Но, правду сказать, боюсь, что ревность моя не принесет мне счастья. Не успел я приступить к работе, как заметил, что мне по-прежнему весьма далеко до загадочного и блистательного образца — и, что еще хуже, у меня выходит нечто (если это можно обозначить как нечто) удивительно непохожее, отчего другой на моем месте наверняка возгордился бы, но я почувствовал себя глубоко униженным, ибо в душе величайшей честью для поэта почитаю *точное* исполнение задуманного.

I. ЧУЖАК

— Скажи, загадочный человек, кого ты любишь больше — отца, мать, сестру или брата?

— У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.

— А друзей?

— Не понимаю, о чем вы: смысл ваших слов от меня ускользает.

— А родину?

— Не знаю, в каких широтах она расположена.

— Красоту?

— Я рад бы ее полюбить, будь она бессмертной богиней.

— Золото?

— Ненавижу его, как вы ненавидите Бога.

— Так что же ты любишь, несуразный чужак?

— Люблю облака... облака, плывущие там... далёко... далёко... сказочные облака!

И. ОТЧАЯНИЕ СТАРУХИ

Сморщенная старушонка пришла в восторг при виде милого дитяти, — все-то ему рады, все-то стараются ему угодить: вот милое создание, такое же хрупкое, как она, старушонка, и беззубое, безволосое, точь-в-точь как она.

И она подошла, хотела его потетешкать, улыбнуться ему поласковей.

Но ребенок в ужасе стал уворачиваться от дряхлой доброй тети с ее нежностями и завопил на весь дом.

И добрая старуха ушла прочь, в неизбывное свое одиночество, и плакала в уголке, и приговаривала: «Ах, несчастные старые бабы, в наши годы мы больше не нравимся никому, даже невинным младенцам; мы бы рады любить малых детей, а они нас боятся!»

III. CONFITEOR* ХУДОЖНИКА

Как пронзительны осенние вечера! О, до боли пронзительны — потому что ощущение блаженства может быть смутным, но в то же время и необычайно сильным; и ничего нет острее, чем острие Бесконечности.

Великое блаженство — заблудиться глазами в беспредельности моря и неба! Тишина, одиночество, несравненная чистота лазури! Трепещущий парус на горизонте, один-одинешенек, похожий на мою непоправимую жизнь, монотонная музыка волн, — они ли орудие моей мысли, или это я орудие их мысли (потому что «я»

---

* «Исповедаюсь» (*лат*). Покаянная католическая молитва (в том числе при исповеди).

быстро исчезает в великом пространстве мечты!); да, они мыслят, но мыслят музыкально, живописно, без крючкотворства, без силлогизмов, без дедукций.

Я ли произвел на свет эти мысли, порождены ли они всем тем, что вокруг меня, — как бы то ни было, вскоре они приобретают чрезмерную остроту. Энергия вожделения доводит меня до дурноты, до физической боли. Нервы натянуты до предела и резко, мучительно вибрируют.

Теперь глубь неба навевает уныние, его прозрачность ожесточает. Меня бесят бесчувствие моря, незыблемость зримого мира... О, неужто я обречен вечно страдать — или вечно избегать прекрасного? Природа, безжалостная обольстительница, вечно торжествующая соперница, оставь меня в покое! Довольно искушать мои чувства, дразнить мою гордость! Изучение прекрасного — поединок, на котором художник кричит от страха и падает побежденным.

IV. ШУТНИК

Царила новогодняя смута: хаос грязи и снега, одолеваемый тысячами карет, сверкающий игрушками и конфетами, кишащий алчностью и отчаянием, — всем известный бред большого города, способный свести с ума самого стойкого отшельника.

Посреди сумятицы, шума и грохота торопливо трусил осел, подгоняемый каким-то хамом с хлыстом в руке.

Когда осел заворачивал за угол, некий представительный господин — в перчатках, лощеный, нещадно затянутый в галстук и закованный в новехонькое платье — церемонно склонился перед смиренным животным и, сняв шляпу, сказал: «Примите мои наилучшие новогодние пожелания!» — а потом самодовольно обернулся к каким-то приятелям, словно приглашая их поддержать его удачную выходку своим одобрением.

Осел не заметил представительного шутника и с тем же усердием побежал дальше, куда призывал его долг.

А меня внезапно охватил неописуемый гнев на этого великолепного болвана: мне показалось, что он воплотил в себе все французское остроумие.

V. ДВУСМЫСЛЕННАЯ КОМНАТА

Комната, похожая на мечту, воистину проникнутая *спиритуализмом*, — ее недвижный воздух слегка окрашен в розовые и голубые тона.

Здесь душа окунается в лень, напитанную ароматом влечения и печали. Что-то сумеречное, голубоватое, розоватое; сладострастный сон на грани пробуждения.

Продолговатая, изнемогающая, истомленная мебель. Кажется, мебель мечтает: она словно живет своей непонятной сомнамбулической жизнью, подобно растениям и минералам. Ткани говорят на немом языке, как цветы, небеса, закаты.

По стенам никакой живописной пакости. Завершенное, положительное искусство кощунственно рядом с чистой мечтой, с недоступным анализу впечатлением. Здесь во всем есть и свет, и очаровательный мрак, присущий гармонии.

Еле слышное и отменно изысканное благоухание, к которому подмешана чуть заметная влажность, плавает в атмосфере, баюкая дремлющий дух негой теплого парника.

По окнам и по кровати стекает дождем, низвергается снежными каскадами кисея. На постели возлежит Идол — это повелительница снов. Но как она сюда попала? Кто ее привел? Какая волшебная сила вознесла ее на этот престол сладострастия и мечты? Не все ли равно? Вот она, я ее узнаю.

Вот очи, их пламя пронзает сумрак; я узнаю эти проницательные страшные *глазки* по их чудовищному коварству! Они притягивают, порабощают, пожирают простака, заглядевшегося на них. Я часто изучал эти черные звезды, — они требуют, чтобы мы их созерцали и чтобы мы поклонялись им.

Какому благосклонному демону обязан я этой окружившей меня тайной, тишиной, покоем, благоуханием? О блаженство! То, что обычно мы, даже безудержно преувеличивая, зовем жизнью, ничего не имеет общего с этим высоким существованьем, к которому я теперь прикоснулся и которое смакую минута за минутой, секунда за секундой!

Нет, какие там минуты, какие секунды! Время исчезло;[6] воцарилась Вечность, — отрадная вечность!

Но вот раздался ужасный, тяжкий стук в дверь, и, как в дьявольском сне, мне почудилось, будто в грудь мне ударяет кирка.

А потом вошел Призрак. Это судебный исполнитель — он явился терзать меня именем закона, или мерзкая сожительница — вот сейчас заведет нытье и добавит свои пошлости к моим печалям, или посыльный от редактора газеты, требующего продолжения рукописи.

Райская спальня, Идол, повелительница снов, Сильфида, как говаривал великий Рене,[7] — вся эта магия рассеялась от грубого стука Призрака.

Ужас! Я вспомнил! Вспомнил! Да, это логово, это прибежище вечной скуки — в самом деле мой дом. Вот глупая, пыльная, щербатая мебель; осквернённый плевками камин без огня и угля; унылые окна со следами дождя на пыльных стеклах; перемаранные, разрозненные листы рукописи; календарь, в котором карандаш отметил зловещие даты!

А благоухание иного мира, которым упивалось мое изощренное чутье, сменилось — увы! — табачной вонью вперемешку с тошнотворным запахом плесени. Теперь здесь веет прогорклым отчаянием.

В этом мирке, тесном, но до отказа исполненном отвращения, мне нравится только один предмет: склянка с настоем опиума, старая, ужасная подруга; подобно всем прочим подругам, увы, она щедра и на ласки, и на предательства.

Ах, да — вновь появилось Время:[8] теперь Время царит безраздельно; и с этим гнусным стариком вернулся весь его адский кортеж Воспоминаний, Сожалений,

Спазмов, Страхов, Тревог, Кошмаров, Негодований и Неврозов.

Уверяю вас, что теперь секунды тяжело и торжественно падают одна за другой, и каждая, срываясь со стенных часов, говорит: «Я твоя Жизнь, невыносимая, неумолимая Жизнь!»

И лишь одна Секунда в жизни посылается человеку, чтобы принести благую весть, *благую весть*, внушающую любому из нас необъяснимый страх.

Да, Время царит; я вновь ощутил его жестокую диктатуру. И оно подгоняет меня, словно вола, двумя стреловидными стрекалами: «Ну, пошел, скотина упрямая! Потей, раб! Живи, окаянный!»

VI. КАЖДОМУ СВОЯ ХИМЕРА

Под просторными серыми небесами, на просторной пыльной равнине, где нет ни дорог, ни травы, ни репья, ни крапивы, я встретил много согбенных людей, которые куда-то шли.

Каждый нес на спине огромную Химеру, тяжкую, как мешок с мукой или углем, как снаряжение римского пехотинца.

Но безобразное чудовище не лежало на плечах недвижным грузом; нет, оно обвивало и давило человека гибкими могучими мышцами; оно впивалось в грудь своего скакуна двумя огромными когтями, а его фантастическая морда торчала надо лбом человека, как один из тех жутких шлемов, которыми древние воины надеялись устрашить врага.

Я стал расспрашивать одного из этих людей и осведомился, куда они держат путь. Он отвечал, что не знает, и другие тоже не знают, но уж, верно, куда-нибудь они все же идут, потому что чувствуют неодолимую тягу идти вперед.

Странное дело: казалось, никто из путников не сердится на свирепого зверя, повисшего у него на шее и приникшего к его спине, словно каждый считает эту

обузу частью себя самого. На усталых серьезных лицах ни тени отчаяния; все шагали под ипохондрическим небесным куполом, увязая ногами в пыльной почве, такой же безотрадной, как небо, и в облике их отражалось смирение людей, обреченных надеяться вечно.

И шествие проследовало мимо меня и растаяло за горизонтом, там, где круглится поверхность планеты, прячась от любопытного людского взгляда.

И несколько мгновений я упорно желал разгадать эту тайну, но вскоре неодолимое равнодушие овладело мной, и гнет его показался мне тяжелее, чем этим людям — их неподъемные Химеры.

VII. ШУТ И ВЕНЕРА

Какой прекрасный денек! Обширный парк млеет под жгучим солнечным оком, как юность под игом Любви.

Все замерло в молчаливом восторге: даже вода словно уснула. Здесь вершится безмолвная оргия — совсем непохожая на человеческие праздники.

И каждый предмет словно сверкает ярче и ярче в лучах все более ослепительного света, и возбужденные цветы словно сгорают от желания затмить горнюю лазурь насыщенностью красок, и жара, придавая запахам зримость, словно возносит их к небесному светилу, как струйки дыма.

Однако среди всеобщего ликования я все же заметил одно несчастное существо.

У ног колоссальной Венеры, одетый в причудливый яркий наряд, довершенный рогатым колпаком с бубенцами, съежился, припав к пьедесталу, один из тех притворных дураков, добровольных шутов, чье дело — смешить королей, преследуемых Совестью или Скукой, и глазами, полными слез, взирает снизу вверх на бессмертную Богиню.

И глаза его говорят: «Я последний и самый одинокий из людей, лишенный любви и дружбы, — в этом я ниже ничтожнейшей из живых тварей. А все же и мне дано по-

стичь и почувствовать бессмертную Красоту! Ах, Богиня, сжальтесь над моей печалью и над моим бредом!»

Но неумолимая Венера все смотрит куда-то вдаль мраморными глазами.

VIII. ПЕС И ФЛАКОН

«Красивый мой пес, хороший песик, дорогая собачка, поди сюда, понюхай отменные духи, купленные у лучшего в городе парфюмера».

И пес, виляя хвостом, что у этих бедных созданий означает, по-моему, смех или улыбку, подходит и тычется влажным носом в откупоренный флакон; затем, в ужасе отпрянув, разражается лаем, полным упрека.

«Ах, презренная псина, если бы я предложил тебе кулек с испражнениями, ты бы в восторге его обнюхал и стал бы, чего доброго, пожирать его содержимое. Что ж, недостойный спутник моей печальной жизни, ты похож на читающую публику: ей всегда следует преподносить не изысканные духи, которые ее раздражают, а только заботливо выбранные нечистоты».

IX. СКВЕРНЫЙ СТЕКОЛЬЩИК

Иные чисто созерцательные натуры, совершенно неспособные к действию, подчас, повинуясь таинственному непостижимому импульсу, действуют с быстротой, которой и сами от себя не ждали.

Те, кто, опасаясь найти у консьержа огорчительное известие, трусливо бродят битый час вокруг собственной двери, не решаясь войти, кто по две недели не осмеливается распечатать письмо,[9] кто лишь спустя полгода смиряются с необходимостью совершить поступок, который следовало совершить еще год назад, иногда чувствуют, как неодолимая сила стремительно влечет их к действию, как стрелу из лука. Ни моралист, ни врач, претендующие на всезнание, не могут объяснить, откуда бе-

рется такая внезапная бешеная энергия в этих ленивых изнеженных душах и каким образом они, неспособные на самый простой и необходимый шаг, нежданно в избытке отваги совершают наиболее нелепые, а часто даже опасные поступки.

Один из моих друзей, безобиднейший на свете мечтатель, однажды поджег лес, чтобы поглядеть — его собственные слова, — в самом ли деле огонь занимается с такой легкостью, как принято утверждать. Десять раз кряду опыт терпел неудачу, но на одиннадцатый удался чересчур успешно.

Другой закурит сигару возле бочки с порохом, *чтобы поглядеть, узнать, попытать судьбу*, чтобы заставить себя проявить энергию, изобразить из себя игрока, насладиться собственным страхом, просто так, из прихоти, от нечего делать.

Какая-то особая энергия брызжет из скуки и мечтательности; и проявляется она самым неожиданным образом в самых беспечных и мечтательных созданиях.

Другой, до того застенчивый, что опускает глаза даже под мужскими взглядами, так что ему приходится собрать всю волю воедино, чтобы войти в кафе или пройти мимо билетной кассы в театре, поскольку билетеры для него облечены величием Миноса, Эака и Радаманта,[10] вдруг ни с того ни с сего бросится на шею идущему мимо старику и в восторге расцелует его на глазах у изумленной толпы.

Почему? Потому... Потому ли, что лицо старика внушило ему непобедимую симпатию? Возможно, и все же, скорее, мы вправе предположить, что он и сам не знает почему.

Много раз я и сам оказывался жертвой подобных приступов и порывов, наводящих на мысль, что нами овладевают какие-то зловредные демоны, и по их наущенью мы, сами того не сознавая, исполняем их самые нелепые прихоти.

Однажды утром я встал угрюмый, печальный, усталый от праздности, испытывая, как мне представлялось, жажду совершить нечто великое, некий блистательный подвиг; я отворил окно — увы!

(Заметьте, прошу вас, что вкус к мистификациям, который у многих проявляется без подготовительной работы, без продуманного плана, а просто по вдохновению, изрядно способствует — хотя бы потому, что распаляет желания, — состоянию духа, по мнению врачей, истерическому, а по мнению тех, кто разумнее врачей, сатанинскому, которое, не встречая сопротивления, толкает нас к череде опасных или непристойных поступков.)

Первый человек, замеченный мною на улице, был стекольщик, чей пронзительный, режущий ухо крик донесся до меня сквозь тяжелый и грязный парижский воздух. Впрочем, едва бы я смог объяснить, почему на меня напала внезапная и деспотичная ненависть к этому бедняку.

«Эй! Эй!» — и я крикнул, чтобы он поднялся. Сам я тем временем забавлялся мыслью, что комната моя в седьмом этаже, лестница очень узкая, и нелегко будет стекольщику совершать восхождение, то и дело цепляясь за углы своим хрупким товаром.

Наконец он появился: я с любопытством осмотрел все его стекла и сказал: «Как! Разве цветных стекол у вас нет? Розовых, красных, синих, волшебных стекол, райских стекол? Бесстыдник! Вы смеете разгуливать по бедным кварталам, а сами даже не припасли стекол, сквозь которые жизнь казалась бы лучше!» И я поскорей вытолкал его на лестницу; он ушел, спотыкаясь и ворча.

Я подошел к балкону, схватил небольшой горшок с цветами, и, когда этот человек ступил из дверей на улицу, уронил свой метательный снаряд прямо на задний край его рамы со стеклами; от толчка он упал и окончательно расколотил свое жалкое переносное богатство, разбившееся с оглушительным звоном хрустального замка, в который угодила молния.

А я, опьяненный безумием, в ярости крикнул ему: «Жизнь прекрасна! Жизнь прекрасна!»

Эти неврастеничные шутки бывают чреваты неприятностями; подчас за них дорого приходится платить. Но что вечное проклятие тому, кто на секунду обрел бесконечность наслаждения?

X. В ЧАС НОЧИ

Наконец-то! Один! Все смолкло — слышно лишь дребезжание поздних усталых фиакров. На несколько часов нам дается если не покой, то хотя бы тишина. Наконец-то! Миновала тирания человеческих лиц,[11] теперь я буду страдать только из-за себя самого.

Наконец-то! Итак, мне разрешено окунуться для отдыха в ванну потемок! Первым делом запремся на два оборота. Мне чудится, будто вращенье ключа увеличит мое одиночество и укрепит баррикады, отделяющие меня теперь от мира.

Безобразная жизнь! Безобразный город! Припомним, что было днем: видел множество литераторов, — один из них спросил у меня, можно ли добраться до России по суше (он, вероятно, полагает, что Россия — остров); отважно спорил с редактором журнала, на каждое мое замечание возражавшим: «Мы — партия порядочных людей», явно подразумевая, что все прочие журналы издаются жуликами; раскланялся с двумя десятками людей, из коих пятнадцать мне не знакомы; в такой же пропорции раздавал рукопожатия, даже не позаботившись о том, чтобы заранее припасти перчатки; во время ливня, чтобы убить время, завернул к одной попрыгунье, попросившей меня нарисовать ей костюм *Вэпэры*; покрутился у директора театра, который спровадил меня со словами: «Вам бы лучше, по-моему, обратиться к Z...; он самый тяжеловесный, глупый и знаменитый из моих авторов; с ним вы, быть может, чего-нибудь и добьетесь. Повидайте его, а там посмотрим»; хвалился (зачем?) многими скверными поступками, которых и не думал совершать, и трусливо открещивался от нескольких других неблаговидных дел, на которые пошел с удовольствием, — преступное хвастовство, злостная боязнь людского мнения; отказал другу в пустячной услуге и дал отъявленному негодяю рекомендательное письмо; уф! Кажется, всё?

Недовольный другими и сам собой, я хотел бы искупить свою вину и слегка воспрянуть духом в ночной ти-

шине и одиночестве. Души тех, кого я любил, души тех, кого я воспевал, укрепите меня, поддержите меня, отгоните от меня ложь и тлетворные испарения мира; а ты, Господи мой Боже, даруй мне счастье сочинить несколько удачных стихов, которые докажут мне самому, что я не последний из людей, что я не хуже тех, кого презираю!

XI. ДИКАЯ ЖЕНЩИНА И ЩЕГОЛИХА

«Право, милая, вы меня безмерно, безжалостно утомляете; слушая ваши вздохи, можно подумать, будто вы страждете тяжелее, чем шестидесятилетние сборщицы колосьев и старые нищенки, что поднимают с земли хлебные корки у входа в кабак.

Если бы эти вздохи, на худой конец, свидетельствовали об угрызениях совести, они бы хоть отчасти делали вам честь; но ведь они выражают лишь пресыщенность благоденствием да уныние, навеянное покоем. И потом, вы все время без толку тараторите: „Любите меня крепче! Я без этого не могу! И пожалейте меня вот так, и приласкайте меня вот этак!“ Погодите, я попробую вас исцелить прямо здесь, на гулянье; пожалуй, это обойдется нам с вами в сущие гроши, да и ходить далеко не надо.

Приглядимся повнимательней, прошу вас, к этой прочной железной клетке, в которой, завывая, словно грешник в аду, сотрясая прутья, как орангутанг, ярящийся на свое заточение, изумительно подражая то бегающему вприпрыжку по кругу тигру, то бестолково раскачивающемуся из стороны в сторону белому медведю, мечется косматое чудовище, чьи формы отдаленно напоминают ваши.

Это один из тех зверей, к которым обычно обращаются „мой ангел“, — иными словами, женщина. Другое чудовище, то, что, размахивая палкой, надсаживается от крика, — муж. Он посадил законную супругу на цепь и в ярмарочные дни показывает ее по предместьям — разумеется, с дозволения властей.

Смотрите хорошенько! Заметили, с какой ненасытностью (вероятно, непритворной!) она разрывает на куски живых кроликов и голосящую домашнюю птицу, которую швыряет ей вожак? „Ну-ну, — говорит он, — нечего пожирать все добро в один присест“, — и с этими благоразумными словами безжалостно отнимает у нее жертву, чьи жилы, выдранные из мякоти, на миг повисают в сжатых зубах свирепого зверя — я хотел сказать, женщины.

Ну-ка, палкой ее, палкой, чтобы успокоилась! А то страх берет смотреть, какими плотоядными взглядами пронзает она отнятую пищу. Боже милостивый! А палка-то не бутафорская: слыхали, как загудела под ее ударом кожа, хоть и прикрыта накладной шерстью? Теперь зверюга и глаза выпучила, и рычит *более натурально*. Так ярится, что во все стороны летят искры, как от железа на наковальне.

Таковы брачные нравы этих двух потомков Адама и Евы, твоих творений, Господи! Женщина бесспорно несчастна, хотя в конечном счете, быть может, ей не вовсе неведома приятная щекотка славы. Бывают несчастья более непоправимые и лишенные всякого вознаграждения. Но в мире, в который она была заброшена, ничто не внушило ей мысли, что женщина достойна лучшей участи.

А теперь о нас с вами, моя дорогая жеманница! Оба мы видим, какими преисподними полон мир, — так что прикажете думать о вашей хорошенькой преисподней, коль скоро в ней вы спите на простынках, столь же нежных, как ваша кожа, питаетесь только прожаренным мясом, да и то расторопный слуга старательно нарезает его вам на кусочки?

И что мне все эти легкие вздохи, вздымающие вашу умащенную благовоньями грудь, несгибаемая кокетка? И все эти заимствованные из книг ужимки, и эта неистощимая меланхолия, призванная внушить зрителю отнюдь не жалость, а совсем другое чувство? Признаться, иной раз мне охота преподать вам на деле, что́ такое настоящее горе. Как погляжу на вас, моя изысканная кра-

савица, когда ножками вы попираете грязь, а затуманенные глаза обращаете к небу, словно умоляя, чтобы оно ниспослало вам царя, — вы точь-в-точь юная лягушка, взыскующая идеала. Можете презирать чурбан (а я — сущий чурбан, и вам это отлично известно), но берегитесь журавля: *он вас подцепит, сглотнет и не поперхнется*![12]

Пускай я поэт, но не такой уж я простак, как вы полагаете, и если вы слишком часто будете докучать мне своим жеманным хныканьем, я начну обходиться с вами, как с *дикой женщиной*, или вышвырну вас из окна, как пустую бутылку».

XII. ТОЛПЫ

Не каждому дано упиваться множеством: наслаждаться толпой — это искусство. И только тот может жизнерадостно пировать за счет рода человеческого, кто в колыбели получил в подарок от феи вкус к маскам и переодеваниям, ненависть к домоседству и страсть к путешествиям.[13]

Множество, одиночество: похожие слова, для бодрого и плодовитого поэта перетекающие одно в другое. Кто не умеет населить людьми свое одиночество, не сумеет и остаться наедине с самим собой в шумной толпе.

Поэт наделен несравненной привилегией: он может одновременно быть самим собой и другими людьми. Как те блуждающие души, что бродят в поисках тела, он входит, когда пожелает, в роль каждого человека. Он — единственный, для кого ни одно место не занято, и если на первый взгляд какие-то двери перед ним закрыты, то лишь потому, что, с его точки зрения, за них и проникать-то не стоит.

Задумчивому любителю одиноких прогулок эта всемирная общность дарит странное упоение. Кому легко смешаться с толпой, тому знакомо лихорадочное наслаждение, которого навсегда лишены эгоист, запертый, как чемодан, и лентяй, замурованный, как моллюск.

Он усваивает все занятия, все радости и все невзгоды, которые посылает ему случай.

То, что люди называют любовью, ничтожно мало, ограниченно и хило по сравнению с этой несказанной оргией, с этой святой проституцией души, когда она — вся поэзия и щедрость — отдается безраздельно непредвиденной встрече, случайному незнакомцу.

Нужно время от времени рассказывать баловням этого мира, для того хотя бы, чтобы умерить на миг их тупую гордыню, что бывает счастье превыше доступного им, огромнее, изощреннее. Наверное, основателям колоний, пастырям народов, священникам-миссионерам, удалившимся в изгнание на край земли, ведомо нечто сродни этому таинственному упоению; и в лоне огромной семьи, сотворенной их гением, они, должно быть, порой смеются над теми, кто жалеет их за столь беспокойную судьбу и столь безгрешную жизнь.

XIII. ВДОВЫ

Вовенарг[14] уверяет, что в общественных садах есть аллеи, по которым бродят главным образом разочарованные честолюбцы, неудачливые изобретатели, развенчанные знаменитости, разбитые сердца, все суматошные и замкнутые души, в которых еще рокочут последние вздохи грозы и которые прячутся подальше от бесцеремонных взглядов бездельников и весельчаков. В этих укромных тенистых уголках встречаются те, кого искалечила жизнь.

К таким местам особенно тянутся поэт и философ с их жадностью к догадкам. Там для них всегда найдется пожива. Ведь они — совсем недавно я намекал на это — гнушаются посещать увеселения богачей. Шум и кишение в пустоте не имеют для них никакой привлекательности. Напротив, их неодолимо влечет ко всему слабому, болезненному, унылому, сиротливому.

Опытный глаз никогда не ошибется. По каменному или удрученному лицу, по глазам, то впалым и тусклым,

то сверкающим последними сполохами борьбы, по множеству глубоких морщин, по слишком медлительным или слишком порывистым движениям он сразу распознает бесчисленные легенды обманутой любви, отвергнутой преданности, бесплодных усилий, голода и холода, переносимых в смиренном безмолвии.

Случалось ли вам когда-нибудь обращать внимание на вдов, небогатых вдов, где-нибудь на уединенной скамейке? Их легко узнать и в трауре, и без траура. Впрочем, в трауре у бедняков то и дело чего-нибудь не хватает, что-нибудь нарушает гармонию, и от этого он выглядит еще более душераздирающе. Бедняку приходится экономить на горе. Богач выдерживает траур до последней мелочи.

Какая вдова печалится и печалит нас больше — та, за чью руку цепляется малыш, с которым она не может разделить своей задумчивости, или совсем одинокая? Не знаю... Однажды мне довелось несколько часов следить за одной грустной старой женщиной, чопорной, прямой, кутающейся в куцую истрепанную шаль, насквозь проникнутой гордым стоицизмом.

Беспросветное одиночество явно обрекло ее на привычки, присущие старым холостякам, и в ее суровых повадках было что-то мужское, придававшее ей непостижимое обаяние. Не знаю, в каком убогом кафе она перекусила и какова была ее трапеза; я дошел за ней до читальни и долго наблюдал, как ее зоркие глаза, давным-давно обожженные слезами, выискивали в газетах новости, представлявшие для нее жгучий, волнующий интерес.

Наконец, ближе к вечеру, под прелестным осенним небом — с такого неба слетают стаи печалей и воспоминаний, она села в саду, в сторонке, и стала слушать вдали от толпы один из тех концертов, которыми полковые оркестры радуют парижскую публику.

Для этой безгрешной (или очистившейся от грехов) старухи то был, несомненно, маленький кутеж, утешение, которого она вполне заслужила за очередной день, проведенный без друга, без болтовни, без радости, без

наперсника, — день, какие, быть может, уже много лет кряду обрушивает на нее Господь триста шестьдесят пять раз в году.

И еще одна.

Я никогда не мог удержаться, чтобы не бросить взгляд — если не дружелюбный, то хотя бы любопытный — на толпу парий, сгрудившихся вокруг ограды, за которой идет публичный концерт. Оркестр швыряет в темноту праздничные, торжествующие или сладострастные мелодии. Переливающиеся юбки волочатся по земле; взгляды ищут друг друга; праздные люди, утомленные ничегонеделаньем, прохаживаются вразвалку, притворяясь, будто беспечно смакуют музыку. Здесь повсюду сплошное богатство, сплошное счастье; все дышит и обдает беззаботностью и самодовольным наслаждением; все, кроме того сброда, что поодаль жмется к забору, ловя обрывки бесплатной музыки, которую доносит ветер, и любуясь на сверкающее зарево там, внутри.

Всегда интересно замечать отсвет веселья богача в глубине глаз бедняка. Но в тот день среди народа в блузах и в ситце я заметил существо, которое своим благородством являло разительный контраст с окружающей заурядностью.

Это была высокая величавая женщина с таким благородством во всем облике, что не помню равных ей в собраниях аристократических красавиц прошлого. Все ее существо источало аромат надменной добродетели. Ее печальное исхудалое лицо вполне гармонировало с глубоким трауром, в который она была одета. И она тоже, вместе с плебсом, с которым смешалась, не видя его, смотрела глубоким взглядом на блестящее общество и тихонько покачивала головой.

Странное видение! «Наверняка, — сказал я себе, — эта бедность, если только это и впрямь бедность, чужда гнусной скаредности: столь благородное лицо с ней несовместимо. Зачем же она остается по доброй воле в среде, на фоне которой выделяется таким ярким пятном?»

Но из любопытства пройдя совсем близко от нее, я, кажется, угадал ответ. Высокая вдова держала за руку ребенка, тоже одетого в черное; хотя плата за вход и невелика, а все же этих денег хватило бы, наверно, чтобы купить что-нибудь из того, что нужно малышу, или просто побаловать его игрушкой.

И она вернется домой пешком, погруженная в мечты и в раздумья, одна, всегда одна; ведь ребенок — непоседа, эгоист, резкий, нетерпеливый; не в пример животным, таким как кошка или собака, он не годится даже в наперсники страждущей одинокой душе.

XIV. СТАРЫЙ АКРОБАТ

Повсюду толклась, щеголяла, радовалась жизни праздная толпа. Это было одно из тех гуляний, на которые заблаговременно уповают бродячие акробаты, фокусники, вожаки ученых зверей и разносчики, мечтая наверстать убытки мертвого сезона.

В такие дни, как мне кажется, народ забывает все — и горе, и труд; он уподобляется детям. Для малышей праздник — день отдыха, двадцать четыре часа свободы от школьного кошмара. Для взрослых — перемирие, заключенное с могучими силами, несущими зло, передышка в вечном напряжении и во всеобщей борьбе.

И даже светскому человеку, и тому, кто занят умственным трудом, нелегко ускользнуть от очарования простонародного праздника. Они невольно впитывают свою дозу этой беспечной атмосферы. Я сам как истинный парижанин никогда не упущу случая заглянуть во все балаганы, что красуются в дни гуляний.

И впрямь, эти балаганы вовсю соперничали за наше внимание: они визжали, блеяли, орали. В воздухе смешивались крики, гул меди и гром хлопушек. Краснохвостые[15] и Жокриссы[16] коверкали судорожными гримасами свои смуглые, заскорузлые от ветра, солнца и дождя лица; с бесстрашием уверенных в себе актеров они бросали в толпу остроты и каламбуры, проникнутые, в духе

Мольера, прочным и тяжеловесным юмором. Похожие на орангутангов Геркулесы, гордясь своими огромными руками и ногами при полном отсутствии лба и черепа, держались величественно и небрежно в своих трико, выстиранных накануне ради такого случая. Танцовщицы, прекрасные, как феи или принцессы, прыгали и делали кульбиты под огнем фонарей, обдававшим их юбочки искрами.

Повсюду свет, пыль, крик, веселье, суматоха; одни тратят, другие наживают, — и те и другие с одинаковым удовольствием. Дети цепляются за подолы матерей, выпрашивая сахарную палочку, или карабкаются на плечи отцов, чтобы получше рассмотреть ослепительного, как бог, фокусника. И везде витает, заглушая прочие запахи, аромат топленого жира — фимиам этого торжества.

С краю, с самого краю вереницы балаганов я увидел убогого бродячего акробата, сгорбленного, дряхлого, в чем душа держится, сущую развалину; казалось, он со стыда сам себя отлучил от окружающего великолепия и теперь стоял, прислонясь к косяку своей лачуги, более жалкой, чем хижина самого невежественного дикаря, и два тусклых огарка, оплывая и коптя, проливали все-таки слишком яркий свет на царившую там нищету.

Повсюду радость, барыши, удаль; повсюду уверенность в куске хлеба на завтра; повсюду лихорадочная вспышка жизнелюбия. Здесь — полная нищета, к довершению ужаса обряженная в комические лохмотья, противоречащие ей не столько во имя искусства, сколько по необходимости. Он не смеялся, бедолага! Он не плакал, не плясал, не жестикулировал, не кричал; он не пел никакой песни, ни веселой, ни жалостной, он ни о чем не молил. Он был нем и неподвижен. Он прекратил борьбу, он сдался. Его судьба была решена.

Но каким глубоким, незабываемым взглядом блуждал он по толпе и огням, бурный поток которых замирал в нескольких шагах от его отталкивающей нищеты! Я чувствовал, как горло мне сдавила жестокая рука истерии, и глаза затуманили упрямые слезы, никак не желавшие пролиться.

Что делать? К чему спрашивать неудачника, что за фокус, что за диковинный номер может он показать в этих зловонных сумерках, за своим дырявым занавесом? Правду сказать, я не посмел; и пускай причина моей робости вызовет у вас насмешки, но признаюсь, что мне было страшно его унизить. В конце концов я решился положить, проходя мимо, немного денег на его подмостки, надеясь, что он поймет мои намерения, но тут прихлынувшая невесть откуда толпа оттеснила меня далеко от него.

Я вернулся домой, преследуемый этим видением, и попытался разобраться в охватившем меня горе, и сказал себе: сейчас я видел образ старого литератора, пережившего поколение, которое он умел блистательно развлекать; образ старого поэта без друзей, без родных, без детей, опустившегося под влиянием нищеты и людской неблагодарности и в балаган которого уже не желает входить забывчивая публика!

XV. ПИРОЖНОЕ

Я путешествовал.[17] Обступавший меня пейзаж был исполнен неодолимого величия и благородства. В тот миг в моей душе несомненно что-то произошло. Мысли, легкие как воздух, парили в вышине; пошлые страсти — скажем, ненависть или мирская любовь — казались мне теперь далеки, как те облака, что тянулись в глубине пропастей у меня под ногами; душа моя была огромна и чиста, как небесный купол над головой; воспоминания обо всем земном еле-еле достигали моего сердца, приглушенные, как звон бубенцов, долетающих от невидимого стада, что бредет далеко-далеко, по склону другой горы. Иногда по недвижному озерцу,[18] глубокому до черноты, пробегала тень от облака, словно отражение плаща, которым окутан летящий по небу воздушный гигант. Помню, ни с чем не сравнимая торжественность этого величественного и совершенно бесшумного движения преисполнила меня радости вперемешку со стра-

хом. Короче, благодаря вдохновенной красоте, окружавшей меня со всех сторон, я был в полном мире с самим собой и со вселенной; думаю даже, что в безоблачном своем блаженстве, напрочь забыв земное зло, я дошел до того, что мне уже не казались смешными газеты, утверждающие, что человек рожден добрым; когда же неисправимая плоть напомнила о своих притязаниях, я решил, что пора дать отдых ногам и подкрепиться после столь долгого восхождения. Я извлек из кармана краюху хлеба, кожаную кружку и пузырек с эликсиром, который аптекари в те времена продавали туристам, рекомендуя подмешивать его к растаявшему снегу.

Я преспокойно резал хлеб, как вдруг легкий шорох заставил меня поднять глаза. Передо мной стояло маленькое оборванное существо, грязное, взъерошенное, и ввалившимися глазами, в которых застыли испуг и мольба, пожирало мой хлеб. И я услышал, как оно тихо и хрипло выдохнуло: *пирожное!* Слыша название, которым оборвыш почтил мой серый хлеб, я не удержался от смеха, отрезал добрый ломоть и протянул ему. Он медленно приблизился, не отрывая глаз от предмета своего вожделения; потом схватил рукой ломоть и быстро отскочил, словно опасаясь, что мой дар был неискренним или что я уже раскаиваюсь.

Но в тот же миг его опрокинул наземь другой маленький дикарь, невесть откуда налетевший и до того похожий на первого, что их можно было принять за близнецов. Они покатились по земле, дерясь за бесценную добычу, поскольку ни один, разумеется, не желал уступить брату половину. Первый вне себя от ярости ухватил второго за волосы, тот впился зубами недругу в ухо и выплюнул окровавленный клочок вместе с отборным ругательством на местном наречии. Законный владелец пирожного тянулся своими коготками к глазам узурпатора; тем временем тот силился задушить противника одной рукой, а другой пытался запихнуть в карман свою добычу. Но побежденный, черпая силы в отчаянии, приподнялся и свалил победителя с ног ударом головы в живот. К чему описывать омерзительную борьбу, которая

длилась, пожалуй, дольше, чем позволяли их детские силы? Пирожное переходило из рук в руки, то и дело меняя владельца, но, увы, при этом и само меняясь в размерах; и когда они наконец в изнеможении, запыхавшись, истекая кровью, остановились, не в силах более продолжать драку, по правде сказать, не осталось уже и повода для борьбы: ломоть хлеба исчез, рассыпался на мелкие крошки, не отличимые от песчинок, с которыми они смешались.

Это зрелище омрачило для меня пейзаж, и тихая радость, которой тешилась моя душа до появления этих двух созданий, бесследно исчезла; я долго грустил и то и дело твердил себе: «Значит, есть края, где хлеб зовется *пирожное* и представляет собой такое редкое лакомство, что ради него затевают воистину братоубийственную войну!»

XVI. ЧАСЫ

Китайцы узнают время по кошачьим глазам.

Как-то раз один миссионер,[19] гуляя в предместье Нанкина, обнаружил, что забыл дома часы, и спросил у маленького мальчика, который час.

Юный уроженец Поднебесной империи немного поколебался, а потом, решившись, ответил: «Сейчас скажу». Несколько мгновений спустя он вернулся с толстым котом в руках и, заглянув ему, как говорится, в самые глаза, уверенно объявил: «Скоро полдень». Что было сущей правдой.

А я, когда склоняюсь к прекрасной Фелине,[20] которой так идет ее имя, ибо она делает честь своему полу, сердце мое гордится ею, а ум упивается ее ароматом, — ночью будь то или днем, на ярком свету или во тьме кромешной, заглядывая в глубину ее обожаемых глаз, я всегда с точностью узнаю, который теперь час: всегда один и тот же, великий, торжественный, огромный, как пространство, и его не поделить на минуты и секунды — неизменный час, не отмеченный ни на одних

часах и в то же время легкий, как вздох, быстрый, как взгляд.

А если какой-нибудь невежа побеспокоит меня, пока мои глаза устремлены на этот прелестный циферблат, если какой-нибудь зловредный, нетерпимый дух или некстати подвернувшийся бес обратится ко мне с вопросом: «Что ты там высматриваешь так старательно? Что ищешь в глазах этого создания? Расточительный и праздный смертный, видишь ли ты, который час?» — я без колебаний отвечу: «Да, вижу: Вечность!»[21]

Не правда ли, сударыня, мой мадригал достоин похвалы и столь же высокопарен, как и вы? По правде сказать, мне было так радостно сплетать вам этот жеманный комплимент, что я ничего не попрошу у вас в награду.

XVII. ТВОИ ВОЛОСЫ — ПОЛМИРА

Позволь мне долго-долго вдыхать запах твоих волос, окунать в них все лицо — как человек, измученный жаждой, окунает лицо в воду источника — и ворошить их рукой, как благоуханный носовой платок, чтобы выпустить на волю воспоминания.

Знала бы ты, что́ я вижу, чувствую, слышу в твоих волосах! Аромат увлекает мою душу в странствия, как других людей — музыка.

Твои волосы вмещают в себя сон, полный парусов и мачт; они вмещают просторы морей, где дуют муссоны, влекущие меня в пленительные края, где пространство синее и глубже, где воздух напитан благоуханием плодов, листвы и человеческой кожи.

В океане твоих волос мне смутно видится гудящий унылыми песнями порт, он кишит крепкими людьми всех племен и самыми разными кораблями, чьи изысканные и тонкие контуры прочертили широкое небо, омытое неизменной жарой.

Лаская твои волосы, я вспоминаю томность долгих часов, проведенных на диване в каюте прекрасного ко-

рабля, часов, убаюканных чуть заметной бортовой качкой, между цветами в горшках и освежающими гаргулетами.

В жарком горниле твоих волос я вдыхаю табачный запах вперемешку с запахами опиума и сахара; вижу, как во тьме твоих волос блистает безбрежность тропической лазури; на пушистых берегах твоих волос упиваюсь сложной смесью ароматов дегтя, мускуса и кокосового масла.

Позволь мне долго кусать твои длинные черные косы. Когда я покусываю твои упругие непокорные волосы, мне кажется, будто я глотаю воспоминания.

XVIII. ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Есть прекрасная страна, земля обетованная, туда я мечтаю приехать со старинной подругой. Удивительный край, утонувший в туманах нашего Севера, — его можно назвать западным Востоком,[22] европейским Китаем, уж больно резвится там теплая и прихотливая фантазия, терпеливо и упрямо прославившая его искусными и хрупкими растениями.

Воистину земля обетованная: все там красиво, богато, спокойно, честно; роскошь весело отражается в опрятности; жизнь обильна, дышать легко; там нет места беспорядку, шуму и неожиданностям; счастье повенчано с тишиной; даже кухня там — и та поэтична, жирная и вместе с тем пряная; и все там похоже на вас, милый мой ангел.

Ты знаешь ту болезненную лихорадку, что нападает на нас посреди холодных невзгод, ту ностальгию по незнакомой стране, тоску по новому? Есть край, похожий на тебя, где все красиво, богато, спокойно и честно, где фантазия возвела и разукрасила западный Китай, где легко жить и дышать, где счастье повенчано с тишиной. Уедем туда: там надо жить, там надо умереть!

Да, уехать туда, и дышать, и мечтать, и длить дни бесконечностью ощущений. Один композитор написал «Приглашение к вальсу»,[23] но кто напишет «Приглаше-

ние к путешествию» и поднесет его любимой женщине, предызбранной сестре своей?

Да, хорошо бы жить под тем небом, — там, где время бежит медленнее и несет больше мыслей, где бой часов торжественней, глубже и значительней отмечает мгновения счастья.

На мерцающих деревянных панелях или золоченой, сумрачно-роскошной коже скромно живут картины, спокойные, безмятежные и глубокие, как души художников, которые их создают. Закаты, расцвечивающие так богато столовую или гостиную, сочатся сквозь прекрасные ткани или сквозь эти высокие затейливые окна, разделенные на множество квадратиков свинцовыми переплетами. Сундуки и шкафы огромны, причудливы, замысловаты, с замками и с тайниками, как утонченные души. Зеркала, металлы, ткани, золотые и серебряные украшения, фаянс исполняют для глаз немую таинственную мистерию; и от любой вещи, из каждого угла, из щелок ящиков и складок тканей истекает странный запах, подобный благовониям Суматры, — он словно душа этого жилья.

Воистину страна обетованная, говорю тебе, где все богато, чисто и блестяще, словно незапятнанная совесть, словно великолепная кухонная утварь, словно роскошные золотые и серебряные украшения, словно разноцветные драгоценности! Сокровища притекают отовсюду, словно в дом усердного труженика, имеющего заслуги перед всем миром. Удивительная страна, которая выше других, как Искусство выше Природы, — Природа в ней преображена мечтой, улучшена, украшена, переплавлена.

Пускай ищут алхимики садоводства, пускай продолжают искать, все дальше передвигают границы своего счастья! Пускай назначают премии в шестьдесят и в сто тысяч флоринов тому, кто решит их честолюбивые задачи! Я-то нашел мой *черный тюльпан*[24] и мой *голубой георгин*![25]

Несравненный цветок, обретенный тюльпан, аллегорический георгин, не правда ли, сюда, в эту прекрасную

страну, такую спокойную и мечтательную, надо уехать, чтобы жить и цвести? Ведь там ты будешь заключена в раму, подобную тебе самой, и отразишься, как сказали бы мистики,[26] в твоем собственном *соответствии*!

Мечты! Всегда одни мечты! И чем нежнее и честолюбивее душа, тем дальше мечты от возможного. Каждый человек носит в себе свою дозу природного опиума, непрестанно источая его и пополняя его запас, и много ли мы насчитаем с рождения до смерти часов, наполненных настоящей радостью, успешными и решительными поступками? Заживем ли, окажемся ли мы когда-нибудь в картине, которую нарисовал мой ум, в картине, похожей на тебя?

Эти сокровища, мебель, роскошь, порядок, ароматы, сказочные цветы — всё это ты. Большие реки и спокойные каналы — это тоже ты. А несомые их водами огромные корабли, груженные богатствами корабли, с которых доносится монотонное пенье матросов, — это мои мысли, которые дремлют и покачиваются у тебя на груди. Ты тихонько несешь их к морю, к самой Бесконечности, отражая глубины небес в прозрачности своей прекрасной души; а когда, утомленные зыбью и груженные товарами с Востока, они возвращаются в родной порт — это мои мысли, отягченные новым богатством, от Бесконечности возвращаются к тебе.

XIX. ИГРУШКА БЕДНЯКА

Поведаю вам об одном невинном развлечении. Так мало в жизни безгрешных радостей!

Когда вы утром выйдете из дому в твердом намерении побродить по улицам, наполните карманы грошовыми штуковинами вроде паяца, который дергается, когда тянут за ниточку, или кузнецов, стучащих по наковаленке, или всадника на коне с хвостом-свистулькой и, прогуливаясь вдоль кабачков, где-нибудь под деревьями, преподнесите их незнакомым бедным детям, которые вам встретятся. Увидите, как у них округлятся глаза.

Сперва им будет страшно брать: они не поверят в такое счастье. Потом их руки проворно вцепятся в подарок, и они убегут, как кошка, которая, взяв из ваших рук лакомый кусок, удирает съесть его подальше от вас, зная, что людей надо остерегаться.

Однажды на дорожке за оградой обширного сада, в глубине которого белелся прелестный замок, ярко залитый солнцем, стоял хорошенький нарядный малыш в исполненном кокетства платьице, в какие одевают детей за городом.

Роскошь, беззаботность и привычка к благополучию сообщают этим детям такую прелесть, что кажется, они вылеплены из другого теста, чем дети из небогатых и бедных семей.

Рядом с ним на траве валялась великолепная кукла, такая же нарядная, как ее хозяин, покрытая лаком и позолотой, в пурпурном платьице, разукрашенная перьями и стекляшками. Но ребенка не занимала любимая кукла, и смотрел он вот на что.

По другую сторону решетки, на дороге, среди крапивы и чертополоха, стоял другой ребенок, хилый, грязный, замызганный, один из тех ребятишек-парий, в которых непредвзятый взгляд распознал бы красоту, сумей он проникнуть под отвратительную патину нищеты, подобно тому как взгляд знатока угадывает идеальную живопись под слоем грубого лака.

Сквозь символические прутья решетки, разделяющие два мира — большую дорогу и замок, бедный ребенок показывал богатому свою игрушку, и тот жадно рассматривал ее, как редкостную диковинку. И эта игрушка, которой потрясал, размахивал, хвастался маленький грязнуля, была живая крыса в зарешеченной коробочке! Родители, наверняка из экономии, заимствовали для него эту игрушку из самой жизни.

И оба ребенка по-братски улыбались друг другу, обнажая в смехе зубы *одинаковой* белизны.

XX. ДАРЫ ФЕЙ

Феи собрались на великую ассамблею и приступили к распределению даров среди всех новорожденных, появившихся на свет за последние двадцать четыре часа.

Все эти старомодные и капризные сестры судьбы, все эти причудливые матери радостей и печалей были очень разные: одни казались мрачными и хмурыми, другие — резвыми и лукавыми; одни — юные и всегда были юными, другие — старые и всегда были старыми.

Все отцы, которые верят в фей, пришли на ассамблею с младенцами на руках.

Дары, Способности, Счастливые Случаи, Непреодолимые Обстоятельства грудой высились рядом с судилищем, как призы на помосте во время раздачи наград. Разница же состояла в том, что дары были не наградой за старание, а, наоборот, милостью, оказываемой тому, кто еще и не жил, и эта милость могла определить его судьбу и оказаться для него источником как счастья, так и несчастья.

Бедные феи были весьма озабочены, поскольку толпа просителей оказалась огромной, а племя посредников, поставленных между человеком и Богом, подвластно, как и мы, безжалостному закону Времени и его неисчислимого потомства — Дней, Часов, Минут и Секунд.

Право, у фей голова шла кругом, точь-в-точь у министров в приемный день или у служащих ломбарда во время национального праздника, когда объявляют бесплатный возврат залогов. Я даже думаю, что время от времени они поглядывали на стрелку часов с тем же нетерпением, что и судьи из числа смертных, которые во время утреннего заседания не в силах удержаться от мыслей о трапезе, семье и любимых домашних туфлях. Если даже на сверхъестественное правосудие отчасти влияют и спешка и случай, не будем удивляться, что то же самое случается и с правосудием человеческим. Иначе мы сами окажемся несправедливыми судьями.

Вот и в тот день совершилось несколько промахов, которые показались бы странными, если бы феи во все времена отличались благоразумием, а не взбалмошностью.

Так, способность притягивать к себе сокровища, как магнитом, была назначена единственному наследнику богатейшей семьи, который, нисколько не будучи одарен милосердием, не получил и ни малейшей алчности к земному богатству, так что позже ему предстояло тяжко маяться под гнетом своих миллионов.

Так, любовь к Прекрасному и поэтический Гений достались сыну безвестного оборванца, который промышлял ремеслом каменщика и совершенно не мог ни развить способности, ни насытить нужды своего горемычного потомка.

Я позабыл вам сказать, что в этих торжественных случаях дары не подлежат обжалованию и отказаться от них нельзя.

Все феи уже вставали с мест, полагая, что их тяжкий труд подошел к концу, ибо не осталось больше ни одного подарка, ни одной щедроты, которую можно было бы швырнуть человеческой мелюзге, как вдруг один добрый человек, кажется, небогатый торговец, вскочил и, ухватив за платье из разноцветных туманов ближайшую к нему фею, возопил:

— Эй, сударыня! Про нас-то вы забыли! А как же мой малыш? Не уходить же мне с пустыми руками!

Фее было от чего растеряться, ибо не осталось ровным счетом *ничего*. Однако она вовремя вспомнила о законе, редко применяемом, но хорошо известном в мире сверхъестественного, населенном неосязаемыми божествами, дружественными человеку и часто вынужденными приноравливаться к его страстям, такими как феи, гномы, саламандры, сильфиды, сильфы, русалки, водяные, — я имею в виду закон, дающий феям в подобных случаях, когда, например, все дары уже исчерпаны, право на один дополнительный дар в порядке исключения, при условии, однако, что у феи хватит воображения выдумать его прямо на месте.

И вот добрая фея ответила с приличествующей ее рангу самоуверенностью: «Преподношу твоему сыну... преподношу... *Дар нравиться*!»

«Нравиться?.. Но кому? И зачем?» — упрямо допытывался ничтожный лавочник, принадлежавший, несо-

менно, к распространенной породе резонеров, неспособных возвыситься до логики Абсурда.

«Просто так! Просто так!» — отвечала разгневанная фея, повернувшись к нему спиной; и присоединившись к процессии своих подруг, сказала им: «Ну как вам этот тщеславный французик: все-то он хочет понять и, выиграв для сына лучший из призов, еще смеет задавать вопросы и оспаривать бесспорное!»

XXI. ИСКУШЕНИЯ, ИЛИ ЭРОС, ПЛУТОС И СЛАВА

Два великолепных беса и одна столь же бесподобная дьяволица прошлой ночью поднялись по таинственной лестнице, через которую ад штурмует спящего человека в минуты слабости и входит с ним в тайные сношения. И вот они победоносно выстроились передо мной, как на подмостках. От всех троих исходило серное сияние, ярко освещавшее их в густой темноте. Они казались такими горделивыми и властными, что поначалу я принял всех троих за настоящих богов.

По лицу первого беса было не вполне ясно, какого он пола, да и в линиях его тела заметна была округлость, присущая древним Бахусам. Его прекрасные томные глаза, сумрачно-неопределенного цвета, напоминали фиалки с еще не просохшими каплями бурного ливня, а полуоткрытые губы — разогретые курильницы, источающие сладкий аромат благовоний; и с каждым его вздохом мускусные мухи, реявшие вокруг, вспыхивали огоньками от жара его дыхания.

Вокруг его пурпурной туники обвилась пояском переливающаяся всеми цветами змея и тянула головку к его лицу, не сводя с него томных глаз, горевших, как угли. На этом живом поясе висели склянки, полные зловещих снадобий, сверкающие ножи и хирургические инструменты. В правой руке бес держал еще одну склянку со светящейся алой жидкостью и со странной надписью на этикетке: «Пейте, это моя кровь — превосходное

укрепляющее», в левой — скрипку, которая, наверно, помогала ему своим пением изливать муки и радости и заражать всех вокруг безумием на ночных шабашах.

На его изящных щиколотках болтались несколько звеньев разорванной золотой цепи, и когда, путаясь в них, он поневоле опускал глаза долу, то всякий раз самодовольно любовался ногтями у себя на ногах — отполированными и блестящими, как искусно обработанные драгоценные камни.

Он взглянул на меня с безутешной скорбью в глазах, из которых сочилось подспудное опьянение, и певучим голосом произнес: «Если хочешь, если хочешь, я сделаю тебя повелителем душ, и живая материя будет повиноваться тебе покорней, чем скульптору повинуется глина: ты узнаешь неизбывное наслаждение выходить за пределы себя и забываться в другом человеке и будешь с такой силой привлекать другие души, что начнешь смешивать их со своей душой».

А я ему в ответ: «Большое спасибо! На что мне человеческий хлам, который, что ни говори, ничем не лучше моего убогого „я“? Хоть я и стыжусь немного своих воспоминаний, но все же ничего не хочу забывать; и даже если бы я не знал тебя, древнее чудовище, все равно твой таинственный ножевой товар, твои двусмысленные склянки, цепи, которыми опутаны твои ноги, — эти символы достаточно ясно твердят обо всех неприятностях, сопряженных с твоей дружбой. Прибереги свои дары до другого случая».

Второй бес не отличался ни внешностью, трагической и приветливой в одно и то же время, ни отменными вкрадчивыми манерами, ни утонченной благоухающей красотой. Это был толстяк с жирным безглазым лицом, его грузное брюхо провисало чуть не до колен, а лоснящаяся золотистая кожа была, словно татуировкой, сплошь испещрена множеством маленьких движущихся фигурок, изображавших всевозможные формы человеческих страданий. Там были тощие существа, добровольно повесившиеся на гвозде; были исхудалые уродливые гномики, чьи умоляющие глаза требовали ми-

лостыни еще настойчивее, чем трясущиеся руки; а еще старухи-матери, за истощенные груди которых цеплялись дети-ублюдки. И многие, многие другие.

Жирный бес лупил кулаком по своему огромному животу, и каждый удар отзывался долгим и гулким металлическим звоном, переходившим в смутный стон, в котором сливалось множество человеческих голосов. И бесстыдно обнажая гнилые зубы, толстяк хохотал зычным дурацким смехом, как смеются иные люди по всей земле после сытного обеда.

И этот бес мне сказал: «Я могу дать тебе то, что откроет перед тобой все возможности, то, что стоит всего остального, то, что служит заменой всему!» И похлопал по своему чудовищному брюху, гулким эхом от этих ударов поясняя свои грубые слова.

Я отвернулся с отвращением и ответил: «Я не нуждаюсь для счастья в чужой нищете; и не нужно мне богатства, испещренного, как узорами на обоях, всеми несчастьями, изображенными на твоей шкуре».

Что до дьяволицы, ложью было бы с моей стороны не признаться, что на первый взгляд я не отказал ей в странном очаровании. Чтобы определить это очарование, я, пожалуй, сравнил бы ее с очень красивыми, но увядающими женщинами, которые, однако, застыли на грани старения, и их красота хранит пронзительную прелесть руин. Была в ней властность и вместе с тем угловатость, а глаза ее, хоть и обведенные чернотой, таили соблазнительную силу. Больше всего поразила меня тайна ее голоса, напоминавшего все самые восхитительные на свете контральто с примесью хрипа, вырывающегося из глоток, беспрестанно орошаемых водкой.

«Хочешь изведать мое могущество? — чарующим, исполненным парадоксов голосом сказала мнимая богиня. — Слушай».

И тут она поднесла к губам гигантскую трубу, изукрашенную лентами, как пастушья дудка, — на них красовались названия всех на свете газет, и в эту трубу она выкрикнула мое имя, которое загремело в пространстве оглушающим шумом, как сотни тысяч раскатов грома, и

вернулось ко мне, подхваченное эхом с самой дальней планеты.

«Черт побери! — воскликнул я, наполовину покоренный, — вот это здорово!» Но внимательней приглядевшись к обольстительной амазонке, я смутно почувствовал, что уже видел ее, когда она пьянствовала с несколькими негодяями из числа моих знакомых, и хрип ее меди зазвучал у меня в ушах неясным воспоминанием о продажных языках.

И вот я ответил с величайшим презрением: «Убирайся! Я не стану жениться на любовнице людей определенного сорта, которых и называть-то не хочу».

Разумеется, мне впору было гордиться таким самоотречением. Но, к несчастью, тут я проснулся, и все силы меня покинули. «Право слово, — сказал я себе, — меня, должно быть, совсем разморило во сне, если во мне взяли верх такие благородные чувства. Ах, вернись мои гости, пока я не сплю, я не повел бы себя столь щепетильно!»

И я стал призывать их громким голосом, умоляя о прощении и предлагая бесчестить меня сколько им будет угодно, лишь бы они не оставили меня своими милостями; но, по всей вероятности, я их глубоко оскорбил, потому что они уже никогда не вернулись.

XXII. ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ

Темнеет. На бедные умы, истомленные дневными трудами, нисходит великое умиротворение, и мысли окрашиваются в нежные и неопределенные цвета сумерек.

Между тем с вершины горы до моего балкона сквозь прозрачную вечернюю дымку долетает оглушительный гул, в котором сливается множество нестройных воплей, преображенных пространством в зловещую гармонию, подобную гармонии прилива или просыпающейся бури.

Кто эти несчастные, которым вечер не приносит покоя и для которых, как для сов, приход ночи означает

сигнал к шабашу? Это зловещее уханье долетает до нас из черной больницы, примостившейся на горе; и вечерами, когда я курю, созерцая покой обширной долины, усеянной домами, где каждое окошко твердит: «Здесь теперь воцарился покой! Здесь царят семейные радости!» — я могу под завывание ветра с горы баюкать мою потрясенную мысль этим подобием адской музыки.

Сумерки возбуждают душевнобольных. Помню, у меня были двое друзей, которые в сумерки совершенно заболевали. Один из них забывал все требования дружбы и вежливости и, как дикарь, набрасывался на любого, кто попадался ему под руку. Я видел, как он швырнул в голову метрдотелю превосходного цыпленка, в котором усмотрел уж не знаю какой оскорбительный тайный намек. Вечер, предтеча глубокого сладострастия, портил ему вкус самых аппетитных вещей.

Другой, оскорбленный честолюбец, по мере того как темнело, становился все язвительней, все мрачней, все насмешливей. Днем еще снисходительный и дружелюбный, вечерами он делался безжалостным, причем его сумеречное безумство обрушивалось не только на других, но и на него самого.

Первый умер душевнобольным, не узнавая жены и детей; второй носит в себе сосущее чувство вечной тревоги, и будь он осыпан всеми почестями, какие могут даровать республики и владыки, думаю, сумерки все равно будут зажигать в нем пылкое желание мнимых наград. Ночь, помрачающая их рассудок, озаряет светом мой разум; и хотя не так уж редко одна и та же причина влечет за собой два противоположных следствия, меня это всегда как-то изумляет и тревожит.

О ночь! О прохладный мрак! Вы для меня — сигнал к внутреннему празднику, вы — избавление от тоски! На безлюдье равнин или в каменных лабиринтах столицы для меня мерцание ваших звезд или зарево фонарей — потешные огни богини Свободы!

Сумерки, как вы ласковы и нежны! Розовые огоньки, еще блуждающие на горизонте подобно агонии дня под торжествующей поступью ночи, и густые красные пятна

над последними отблесками заката, напоминающие пламя свечей в светильнике, и тяжелые занавеси, которые невидимая рука натягивает с бездонного Востока, воспроизводят всю сложность чувств, борющихся в человеческом сердце в торжественные часы жизни.

А еще это похоже на одно из диковинных платьев, в каких выступают танцовщицы: сквозь прозрачный и темный газ виднеется приглушенное великолепие ярчайшей юбочки, как сквозь черное сегодня просвечивает прекрасное вчера; и мерцающие золотые и серебряные звезды, которыми она усыпана, напоминают те огни фантазии, которые загораются только на глубоком трауре Ночи.

XXIII. ОДИНОЧЕСТВО

Какой-то газетчик-филантроп сказал мне, что одиночество вредно человеку; в доказательство своего мнения он, как все неверующие, приводит слова Отцов Церкви.

Я знаю, что дьявол охотно посещает бесплодные земли и что дух убийства и похоти прекрасно разгорается в одиночестве. Но очень может быть, что одиночество опасно лишь для пугливых и блуждающих душ, населяющих его своими химерами и страстями.

Болтун, чье наивысшее наслаждение состоит в том, чтобы проповедовать с кафедры или с трибуны, всерьез рискует впасть в буйное помешательство, окажись он на острове Робинзона. Я не жду от моего газетчика доблестной отваги Крузо, но требую, чтобы он не смел осуждать тех, кто влюблен в одиночество и тайну.

В нашей болтливой породе попадаются личности, которые с меньшим отвращением согласятся на самые ужасные пытки, если только сперва им позволят с вышины эшафота разразиться великолепной речью и не опасаться, что барабаны Сантерра[27] некстати прервут их на полуслове.

Мне их не жаль: догадываюсь, что ораторские излияния дарят им такое же блаженство, какое прочие

черпают в молчании и сдержанности; я их просто презираю.

Более всего мне хочется, чтобы мой проклятый газетчик не мешал мне забавляться на мой лад. «Неужто вы никогда не ощущаете потребности, — гнусавым елейным тоном говорит он, — поделиться с другими вашей радостью?» Ну что за хитрая завистливая бестия! Знает, что я презираю его утехи, а сам, подлец, подбирается к моим, чтобы все мне испортить!

«Великое несчастье тому, кто не может быть один!» — заметил однажды Лабрюйер,[28] словно для того, чтобы пристыдить всех тех, кто спешит забыться в толпе, явно боясь, что не в силах вытерпеть общество самого себя.

«Чуть не все наши несчастья происходят оттого, что мы не сумели остаться у себя в комнате», — говорит другой мудрец, Паскаль,[29] поминая, как мне кажется, этими словами в своей отрешенной от суеты келье всех безумцев, что ищут счастья в движении и проституции, которую я мог бы назвать *братской*, пожелай я заговорить прекрасным языком нашего века.

XXIV. ЗАМЫСЛЫ

Он говорил себе, гуляя по просторному безлюдному парку: «Как хороша бы она была в придворном наряде, замысловатом и пышном, спускаясь в теплый ясный вечер по мраморным ступеням дворца навстречу просторным лужайкам и водоемам! Недаром с виду она — прирожденная принцесса».

Позже, идя по улице, он остановился перед лавкой с гравюрами и, обнаружив в папке эстамп, изображавший тропический пейзаж, сказал себе: «Нет, я хотел бы обладать ее обожаемой жизнью не во дворце! Там бы мы с ней не чувствовали себя *дома*! К тому же на этих стенах, испещренных позолотой, не найти места, чтобы повесить ее портрет; в этих торжественных галереях не найти укромного уголка, чтобы побыть вдвоем. Нет, право,

чтобы лелеять мечту моей жизни, нам с ней следовало бы жить *там*».

И впиваясь глазами в каждую деталь гравюры, он мысленно продолжал: «На берегу моря — прекрасная деревянная хижина, утопающая среди всех этих причудливых и сверкающих деревьев, названия которых я позабыл... в воздухе упоительный, неописуемый запах... в хижине густой аромат роз и мускуса... а дальше, за пределами наших скромных владений, — верхушки мачт, покачиваемые морской зыбью... вокруг нас, за пределами комнаты, залитой розовым, сочащимся сквозь шторы светом, убранной свежими циновками и дурманящими цветами, обставленной всего несколькими креслами в стиле португальского рококо, из тяжелого темного дерева (в которых ей было бы так покойно, так прохладно отдыхать, куря табак с легкой примесью опиума!), за пределами веранды — гомон птиц, пьяных от света, и стрекот маленьких негритянок... а ночью, словно аккомпанемент моим думам, — жалобная песнь музыкальных деревьев, унылых казуарин![30] Да, в самом деле, вот они, декорации, которых я искал. И на что мне дворец?»

А пройдя по широкому проспекту немного дальше, он заметил чистенькую гостиницу; из ее окна, завешенного веселыми занавесками пестрого ситца, выглядывали два смеющихся личика. И он тут же себе сказал: «До чего все-таки непоседлива моя мысль: она стремится так далеко в поисках того, что совсем близко. Наслаждение и счастье ждут в первой попавшейся гостинице, к которой привел меня случай, — и эта гостиница сулит такую негу! Жаркий огонь, яркий фаянс, сносный ужин, отличное вино и широчайшая кровать с жестковатыми, но свежими простынями — что может быть лучше?»

И вернувшись в одиночестве к себе домой, в тот час, когда советов Благоразумия уже не заглушает гул внешней жизни, он сказал себе: «Сегодня в мечтах я переменил три дома и повсюду обрел равное наслаждение. Зачем понуждать свое тело к перемене мест, коль скоро

душа моя путешествует так свободно? И к чему воплощать замыслы в жизнь, коль скоро замысел сам по себе приносит столько радости?»

XXV. ПРЕКРАСНАЯ ДОРОТЕЯ

Солнце гнетет город своим прямым беспощадным светом; песок ослепителен, море сверкает. Мир, цепенея в ленивом бессилии, впал в послеобеденный сон — в ту сладостную разновидность смерти, когда человек, наполовину проснувшись, вкушает всю негу небытия.

Тем временем Доротея, сильная и гордая, как солнце, шагает по пустынной улице, — единственная живая душа в этот час под бескрайней лазурью, она бросается в глаза, как черное пятно на свету.

Она шагает, плавно покачивая тонким станом и широкими бедрами. Облегающее шелковое платье светло-розового цвета оттеняет сумрачно-смуглую кожу и туго обхватывает удлиненный торс, выгнутую спину и острые груди.

Красный зонтик, просеивая свет, брызжет на ее смуглое лицо бликами кровавых румян.

Груз огромной, почти синей массы волос оттягивает назад ее изящную голову, сообщая всему ее облику победоносную и вместе с тем ленивую стать. Тяжелые подвески неприметно позвякивают в аккуратных ушах.

Время от времени ветер с моря приподнимает край ее платья, обнажая безупречную блестящую ножку, а ступни, сходные со ступнями мраморных богинь, томящихся в музеях Европы, оставляют четкие отпечатки в тонком песке. Ведь Доротея так неописуемо кокетлива, что удовольствие кружить головы преобладает у нее над гордыней вольноотпущенницы, и она, даром что свободна, ходит босиком.

И вот она шагает, ладная, счастливая, улыбаясь белозубой улыбкой, словно далеко впереди видит зеркало, в котором отражается ее стать и ее красота.

Какая же причина гонит вперед ленивую, прекрасную и холодную, как бронза, Доротею в тот час, когда собаки — и те повизгивают от боли под солнечным жалом?

Зачем она покинула свой кокетливо убранный домик, превращенный с помощью недорогих цветов и циновок в очаровательный будуар, где ей так нравится расчесывать себе волосы, курить, нежиться под ветерком опахала или смотреться в зеркала, вделанные в ее огромные веера из перьев, покуда море, набегая на пляж в сотне шагов от дома, могучим и монотонным аккомпанементом вторит ее смутным грезам, а из глубины двора сочится возбуждающий аромат рагу из крабов с рисом и шафраном, что томится в железном котелке?

Может быть, у нее свидание с юным офицером, который на далеких берегах слыхал рассказы товарищей об этой знаменитой Доротее. Простая душа, она уж наверно станет умолять, чтобы он описал ей бал в Опере, и спросит, можно ли пойти туда босиком, как на воскресные танцульки, где даже старые негритянки от радости пьянеют и теряют голову; а еще — правда ли, что прекрасные парижские дамы красивей ее.

Все восхищаются Доротеей, все ее лелеют, и счастью ее не было бы границ, не будь она вынуждена копить пиастр за пиастром, чтобы выкупить свою младшую сестру, — в свои одиннадцать лет девочка уже созрела и стала такой красавицей! И славная Доротея, конечно, добьется своего: хозяин девочки скуп и в скупости своей не подозревает, что на свете есть другая красота, кроме красоты золотых монет!

XXVI. ГЛАЗА БЕДНЯКОВ

Ах, вы хотите знать, почему я сегодня вас ненавижу? Вам, конечно, будет труднее уразуметь это, чем мне — объяснить, поскольку вы, на мой взгляд, являете собой наилучший пример женской бесчувственности, какой только можно вообразить.

Мы провели вместе долгий день, который мне показался коротким. Мы твердо обещали друг другу, что будем делиться всеми мыслями и что отныне две наши души сольются в одну, — в такой мечте, что и говорить, нет ничего оригинального, кроме того, что все люди на свете ее лелеют, но ни один не осуществил.

Вечером, немного устав, вы пожелали присесть перед новым кафе, на углу одного из новых бульваров, еще заваленного строительным мусором, но уже красующегося своим незавершенным великолепием. Кафе сверкало. Даже газ горел со всем пылом дебютанта и изо всех сил освещал стены ослепительной белизны, сияющую гладь зеркал, позолоту багетов и карнизов, толстощеких пажей, которых тащили вперед собаки на сворках, смеющихся дам, подставлявших кулачок соколу, нимф и богинь, несущих на голове плоды, паштеты и дичь, Геб и Ганимедов, простирающих к нам на вытянутых руках амфоры с желе или двуцветные обелиски пышного мороженого, — словом, всю историю и всю мифологию, поставленные на службу обжорству.

Прямо перед нами, на мостовой, стоял человек лет сорока с усталым лицом, с сединой в бороде, за одну его руку цеплялся маленький мальчик, а на другой сидело совсем крошечное дитя, слишком слабое, чтобы ходить. Исправляя обязанности няньки, он вывел детей на вечернюю прогулку. Все они были в лохмотьях. Их три лица были необычайно серьезны, и шесть глаз, не отрываясь, глядели на новое кафе с одинаковым восторгом, различавшимся только оттенками сообразно возрасту каждого.

Глаза отца говорили: «До чего красиво! До чего красиво! На эти стены словно стеклось все золото нашего бедного мира!» Глаза мальчика: «До чего красиво! До чего красиво! Но в дома вроде этого можно входить только другим людям, не таким, как мы». А малыш был до того зачарован зрелищем, что его глаза выражали только бессмысленное и глубокое блаженство.

Сочинители песен уверяют, что от радости душа делается добрей, а сердце смягчается. Тем вечером по от-

ношению ко мне песня не лгала. Я не только умилился, видя это семейство глаз, но мне стало слегка совестно наших бокалов и графинов, которые были больше нашей жажды. Я искал глазами ваших глаз, дорогая, надеясь прочесть в них *свою* мысль; я окунался в ваши глаза, такие прекрасные, такие удивительно нежные, в ваши зеленые глаза, осиянные Капризом и вдохновленные Луной, как вдруг вы сказали: «Какие несносные люди: распахнули глаза, прямо как ворота! Не могли бы вы попросить хозяина кафе убрать их отсюда?»

Как трудно понять друг друга, мой милый ангел, и как невозможно передать свою мысль другому человеку, даже если любишь друг друга!

XXVII. ГЕРОИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

Фанчуле был великолепным шутом и едва ли не другом Князя. Но те, кто по своему положению обречен на смешное, испытывают роковое влечение к серьезному, и хотя кому-то покажется странно, что понятия родины и свободы могут властно завладеть умом фигляра, но в один прекрасный день Фанчуле примкнул к заговору, составленному несколькими недовольными дворянами.

Везде найдутся добрые люди, готовые донести властям на раздражительных субъектов, желающих низложить великих мира сего и, не спросясь у общества, произвести его переустройство. Вышеупомянутые знатные господа были схвачены — а вместе с ними и Фанчуле — и осуждены на верную смерть.

Охотно поверю, что Князь был несколько раздосадован, обнаружив среди мятежников своего любимого комедианта. Этот Князь был не лучше и не хуже любого другого, но из-за обостренной чувствительности нередко оказывался более жесток и деспотичен, чем все ему подобные. Сладострастно влюбленный в искусство и, кстати, великолепный его знаток, в наслаждениях он был воистину ненасытен.

Равнодушный, в сущности, к людям и к морали, сам истинный артист, он не знал врага опаснее Скуки,[31] и его невероятные усилия, направленные на то, чтобы убежать от этого всеобщего тирана или победить его, наверняка снискали бы ему у сурового историка определение «чудовище», когда бы в его владениях дозволялось писать что бы то ни было кроме того, что должно привести к наслаждению или к удивлению, каковое есть самая утонченная форма наслаждения.[32] На великую беду Князя, у него не было подмостков, достаточно обширных для его гениальности.[33] Немало юных Неронов задыхаются в отведенных им узких пределах, а грядущие века не узнают их имен и не подозревают об их доброй воле. Вот и этого Князя непредусмотрительное Провидение одарило талантами, намного превосходившими его государство.

Внезапно прошел слух, что государь хочет помиловать всех заговорщиков, а источником этого слуха было объявление о пышном спектакле, где Фанчуле должен был играть одну из наиглавнейших и наипрекраснейших ролей; говорили, что на представлении будут присутствовать даже осужденные дворяне; это явный признак, прибавляли поверхностные умы, что оскорбленный Князь склоняется к великодушию.

От человека, столь взбалмошного — и от природы, и намеренно, можно было ожидать чего угодно, даже добродетели, даже милосердия, особенно если у него была надежда почерпнуть в этом неожиданное наслаждение. Но для тех, кто, подобно мне, глубже проник в бездны этой больной и любопытной души, бесконечно более вероятным казалось, что Князь желает судить о сценическом таланте приговоренного к смерти человека. Он хотел, пользуясь случаем, произвести *смертельно* интересный физиологический опыт и проверить, насколько обычные способности артиста меняются или колеблются, когда он попадает в необычные обстоятельства; шевельнулось ли, помимо этого, в его душе более или менее зыбкое чувство милосердия? Сие не ведомо никому.

Наконец настал великий день, немногочисленный двор явил всю свою пышность, и, не видя этого собственными глазами, трудно было даже представить себе, что привилегированный класс крошечного государства, при столь ограниченных средствах, может устроить столь блестящее праздничное торжество. А торжество и впрямь было двойное: во-первых, благодаря магическому воздействию выставленного напоказ великолепия, а кроме того, в силу обуревавшего всех волнения и тайного интереса.

Сьёр Фанчуле был особенно хорош в ролях без слов или почти без слов,[34] какими часто бывают заглавные роли в тех феерических драмах, что предназначены запечатлеть в символической форме тайну жизни. Он вышел на сцену легко и с безукоризненной непринужденностью, чем укрепил благородную публику в чаяниях кротости и всепрощения.

Когда об актере говорят: «Вот хороший актер», — под этой формулировкой подразумевают, что за ролью все же угадывается актер, то есть искусство, усилие, воля. И если бы какому-нибудь актеру удалось настолько воплотить вверенную ему роль, насколько лучшие статуи античности, если бы они чудом ожили и стали дышать, ходить, смотреть, могли бы воплотить общую и смутную идею красоты, — это было бы необыкновенной и совершенно непредвиденной удачей. В тот вечер Фанчуле создал безупречный образ — невозможно было не поверить в его жизненность, возможность, реальность. Шут появлялся, исчезал, смеялся, плакал, содрогался, и вокруг его головы светился немеркнущий ореол, невидимый для других, но видимый для меня, — ореол, в котором сливались в один диковинный сплав лучи Искусства и слава Мученичества. По какому-то особому непостижимому наитию Фанчуле вводил божественное и сверхъестественное даже в самые свои экстравагантные трюки. Перо мое трепещет, и слезы неотступного волнения застилают мне глаза, пока я пытаюсь описать вам этот незабываемый вечер. Фанчуле доказал мне решительно и неопровержимо, что упоение Искусством как

ничто другое способно уберечь нас от страха перед бездной, что гений может играть комедию на краю могилы с радостью, мешающей ему разглядеть эту могилу, и блуждает в раю, исключающем самую мысль о могиле и смертном распаде.

И вся пресыщенная, легкомысленная публика вскоре испытала на себе могучую власть артиста. Все думать забыли про смерть, траур, пытки. Каждый, отринув тревогу, окунулся в неисчерпаемые неги, кои дарует нам созерцание живого шедевра искусства. Несколько раз своды здания сотрясали взрывы радости и восхищения, мощные, как раскаты грома. Сам Князь в упоении рукоплескал вместе со всем двором.

Однако проницательный взгляд заметил бы, что к его упоению примешивалось кое-что еще. Почувствовал ли он, что его деспотическая власть ущемлена? Что посрамлено его искусство устрашать сердца и нагонять оторопь на умы? Что его надежды обмануты, а ожидания осмеяны? Такие предположения, почти ничем не доказанные и даже недоказуемые, роились у меня в голове, когда я вглядывался в лицо Князя, бледное по обыкновению, но все время бледневшее еще больше, словно поверх уже выпавшего снега падал новый снег. Его губы сжимались все плотнее, а глаза озарялись внутренним пламенем, похожим на пламя зависти и злобы, даже когда он демонстративно рукоплескал талантам своего старого друга, неподражаемого шута, который так превосходно вышучивал смерть. Вдруг я увидел, как его высочество наклонился к маленькому пажу, стоявшему позади него, и что-то сказал ему на ухо. Проказливая рожица хорошенького мальчика озарилась улыбкой, затем он проворно выскользнул из княжеской ложи, словно ему доверили срочное поручение.

Через несколько минут игру Фанчуле на самом ее подъеме прервал резкий и долгий звук свистка, болезненно отозвавшийся во всех ушах и сердцах. А с того места в зале, откуда шел этот неожиданный неодобрительный свист, сорвался мальчик — и, задыхаясь от смеха, выбежал в коридор.

Фанчуле, потрясенный, очнувшийся от мечты, сперва прикрыл глаза, но тут же неестественно широко распахнул их, судорожно, словно ловя воздух, открыл рот, чуть-чуть качнулся назад и замертво рухнул на подмостки.

В самом ли деле свист, острый как меч, отнял добычу у палача? Догадывался ли сам Князь, какой смертоубийственной силой обладала его хитрость? Ничто не мешает этому предположению. Пожалел ли он своего дорогого и неподражаемого Фанчуле? Охотно склонимся к этой вполне допустимой гипотезе.

Уличенные в заговоре дворяне в последний раз насладились театральным действом. Той же ночью они расстались с жизнью.

С той поры многие мимы, по достоинству прославленные в разных краях, приезжали давать представления при *** дворе, но никому из них не удалось ни подняться до той гениальности, которой достигал Фанчуле, ни возвыситься до такой же *милости*.

XXVIII. ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА

Когда мы выходили из табачной лавки, мой друг тщательно рассортировал сдачу: в левый карман жилета опустил золотые монетки, в правый — серебряные, в левый карман брюк — пригоршню медяков и, наконец, в правый — серебряный двухфранковик, который перед тем особо разглядывал.

«Какая странная и мелочная классификация!» — подумал я про себя.

Мы повстречали бедняка, который, дрожа, протянул нам шапку. Не знаю ничего томительнее немого красноречия этих умоляющих глаз, которые для человека, умеющего в них читать, полны такой униженности и таких упреков! Глубина, которую он найдет в этих глазах, напоминает то сложное чувство, что отражается в слезящихся глазах собаки, когда ее бьют.

Пожертвование моего друга оказалось куда весомее моего, и я ему сказал: «Вы правы; удивить кого-нибудь

сюрпризом — это наибольшее удовольствие после удовольствия удивиться самому». — «Эта монета была фальшивая», — спокойно возразил он, словно оправдываясь в своей расточительности.

Но в моем жалком мозгу, который вечно пытается достать луну с неба (и одарила же меня природа талантом!), внезапно мелькнула мысль о том, что поведение моего друга можно оправдать лишь желанием внести в жизнь этого бедняги какое-то разнообразие, а может быть, даже выяснить, какими последствиями, пагубными или иными, может обернуться фальшивая монета в руках нищего. Разменяется ли она на пригоршню честных медяков? Или приведет попрошайку в тюрьму? Например, хозяин какого-нибудь кабачка либо булочной возьмет да сдаст его в полицию как фальшивомонетчика — или за сбыт фальшивых денег. С тем же успехом фальшивая монета может на несколько дней превратить нищего предпринимателя в богача. И вот уже моя фантазия воспарила, уступив напрокат крылья мозгам моего друга и выводя все возможные последствия из всех возможных гипотез.

Но друг внезапно развеял мою задумчивость, подхватив мои собственные слова: «Да, вы правы, какое все же удовольствие — удивить кого-нибудь, давая ему больше, чем он ожидал!»

Я заглянул ему прямо в глаза и с ужасом убедился, что они блистали неподдельным чистосердечием. И тут мне стало ясно, что он собирался совершить одним махом и богоугодный, и практичный поступок, заработать и сорок су, и расположение Господа, экономическими средствами отхватить местечко в раю, короче говоря, даром заполучить патент на милосердие. Я, пожалуй, простил бы ему тягу к преступному наслаждению, которую на мгновение в нем заподозрил; находи он удовольствие в том, чтобы подставлять бедняков под удар, я счел бы, что это странно и любопытно; но я никогда не прощу ему столь нелепый расчет. Быть злым всегда непростительно, хотя, если сам сознаешь, что ты зол, в этом есть некоторая заслуга; но самым неисправимым пороком отмечен тот, кто творит зло из глупости.

XXIX. ВЕЛИКОДУШНЫЙ ИГРОК

Вчера, пробираясь в толпе по бульвару, я почувствовал, как меня задело таинственное Существо, — мне всегда хотелось свести с ним знакомство и я его сразу узнал, хотя никогда прежде не видел. И он, несомненно, питал относительно меня такое же чувство: проходя мимо, он значительно мне подмигнул, и я поспешил повиноваться его знаку. Я чутко шел за ним и вскоре спустился по его следам в подземное жилище, ослепительное, блиставшее такой роскошью, что с ним даже отдаленно не мог соперничать ни один из домов наверху, в Париже. Мне показалось странным, что я так часто проходил совсем близко от этого великолепного логова, не замечая входа. Там царила изумительная, но пьянящая атмосфера, чуть ли не сразу изгонявшая из памяти все постылые ужасы жизни; грудь заполняло темное блаженство, сходное с тем, что должны испытывать поедатели лотоса,[35] когда, отплыв к зачарованному острову, озаренному светом вечного полудня, они чувствуют, как под одуряющие звуки мелодичных каскадов в них родится желание никогда больше не видеть родных пенатов, жен, детей и никогда более не вверять себя высоким морским валам.

Там были странные лица, мужские и женские, отмеченные роковой красотой, — мне показалось, что я уже видел их в те времена и в тех краях, которые помнятся мне, но как-то смутно; эти лица внушали мне скорее братскую симпатию, чем опаску, с которой обычно смотришь на незнакомца. А попытайся я описать странное выражение их взглядов, я сказал бы, что никогда не видел, чтобы в глазах с такой силой сверкали ужас перед скукой и бессмертное желание чувствовать жизнь.

Не успели мы с моим хозяином сесть, как уже стали старинными и преданнейшими друзьями. Мы поели, мы приложились сверх всякой меры к всевозможным необыкновенным винам, и, что еще более необыкновенно, спустя несколько часов мне показалось, что я не пьянее его. Между тем наши постоянные возлияния несколько

раз прерывала игра — это сверхчеловеческое наслаждение, и должен признаться, что я играл и, по уговору с партнером, героически легко и беспечно проиграл свою душу. Душа — это нечто столь неосязаемое, так часто бесполезное, а порой и обременительное, что по поводу этого проигрыша я испытывал чуть меньше волнения, чем если бы потерял визитную карточку на прогулке.

Мы долго курили сигары, — их несравненный вкус и аромат навевали душе ностальгию по неведомым странам и наслаждениям, и, опьяненный всеми этими усладами, я осмелился в приступе фамильярности, которая, кажется, вовсе не была ему в тягость, воскликнуть, хватая полный до краев кубок: «За ваше неувядаемое здоровье, старый козел!»

Болтали мы и о вселенной, о сотворении мира и его грядущем распаде, о великой идее века, то есть о прогрессе и способности к совершенствованию, и вообще обо всех формах человеческого тщеславия. На эту тему у его высочества не иссякали легкие и неопровержимые остроты, и он высказывал их таким пленительным слогом и с таким уморительным спокойствием, подобных которым я не знал и за самыми знаменитыми острословами рода человеческого. Он объяснил мне абсурдность разных философий, что занимали и доныне занимают умы, и даже удостоил меня доверительного рассказа о некоторых основных принципах, коими обладать и пользоваться дозволено лишь мне одному, не делясь ни с кем. Он никоим образом не сетовал на то, что во всех частях света пользуется дурной репутацией, и заверил меня, что сам он более всех заинтересован в разрушении *суеверия*, а также признался, что лишь однажды испугался за свое могущество, — в тот день, когда услыхал, как один проповедник,[36] более проницательный, чем его собратья, воскликнул с кафедры: «Возлюбленные братья, когда услышите хвалу прогрессу и просвещению, не забывайте, что самая изощренная хитрость дьявола состоит в том, чтобы уверить вас, что он не существует!»

От воспоминаний об этом знаменитом ораторе беседа естественно перешла на академии, и мой странный

сотрапезник заверил, что во многих случаях не гнушается вдохновлять перо, язык и ум педагогов и, как правило, собственной персоной присутствует на всех академических заседаниях.

Ободренный столь милостивым обхождением, я спросил его, как поживает Бог и давно ли они с ним виделись. Он ответил с беспечностью, в которой сквозила печаль: «Мы раскланиваемся при встречах, — но так, как два старых джентльмена, чья врожденная любезность не в силах до конца заглушить память о прежней вражде».[37]

Едва ли его высочество давал когда-нибудь столь продолжительную аудиенцию простому смертному, и я боялся злоупотребить его добротой. Наконец, когда дрожащая заря выбелила оконные стекла, эта знаменитость, которую воспевает столько поэтов и которой служит столько философов, бессознательно преумножающих ее славу, сказала мне: «Мне хотелось бы оставить вам по себе добрую память и доказать, что хоть обо мне и говорят столько дурного, иногда и я бываю — воспользуюсь вашим вульгарным выражением — *чертовски добр*. Чтобы возместить вам душу, которую вы утратили безвозвратно, дарю вам залог, который достался бы вам, будь удача на вашей стороне: пожизненную способность утолять и преодолевать Скуку, причудливую хворь, в которой берут начало все ваши недуги и весь ваш жалкий прогресс. Какое бы желание ни зародилось в вас — я помогу вам его осуществить; вы будете царить над вашими вульгарными собратьями; вам достанется вдоволь лести и даже обожания; серебро, золото, бриллианты, волшебные замки сами будут искать вас и умолять, чтобы вы их приняли, и обладание ими не будет стоить вам ни малейших усилий; по приказу своей фантазии вы перенесетесь в другую страну, обретете новую родину; вы неустанно будете опьяняться наслаждениями в дивных краях, где всегда тепло, а женщины благоухают, как цветы, — et caetera, et caetera...» — добавил он, вставая и провожая меня добродушной улыбкой.

Если бы не опасения унизить себя перед столь многолюдным собранием, я бы охотно упал в ноги этому великодушному игроку, чтобы поблагодарить его за неслыханную щедрость. Но когда я с ним расстался, мало-помалу в сердце мне вновь закралось неизлечимое недоверие; я не смел более верить в столь чрезмерное счастье, и вечером, когда по дурацкой привычке, еще не до конца утраченной, читал молитву[38] на сон грядущий, повторил в полудреме: «Господи! Господи Боже мой! Сделай так, чтобы дьявол исполнил обещанное!»

XXX. ВЕРЕВКА

Эдуару Мане[39]

«Иллюзий, быть может, так же много на свете, — говорил мне друг, — как отношений людей с другими людьми и вещами. А когда иллюзия исчезает, то есть когда человек или факт предстают нам в том виде, в каком они существуют помимо нас, мы испытываем странное чувство, наполовину отягощенное сожалением об исчезнувшем призраке, наполовину приятным удивлением перед новостью, перед реальным фактом. Возьмем материнскую любовь — вот уж бесспорное явление, расхожее, всегда узнаваемое, на счет которого невозможно обмануться. Вообразить себе мать без материнской любви так же немыслимо, как вообразить свет без тепла; и разве не правомерно все слова и поступки матери, касающиеся ее ребенка, приписывать материнской любви? Между тем, послушайте, какая история со мной приключилась и в какое удивительное заблуждение ввела меня самая что ни на есть простительная иллюзия.

Ремесло художника располагает к тому, чтобы внимательно вглядываться в лица, в физиономии, что попадаются на пути, и вам ведомо, какое наслаждение извлекаем мы из таланта, представляющего нам жизнь живее и значительнее, чем другим людям. На окраине, где я живу, где дома отстоят далеко один от другого и про-

странство между ними поросло травой, я часто наблюдал за ребенком, пленившим меня больше других, прежде всего своей пылкой и шаловливой рожицей. Он много раз мне позировал, и я превращал его то в цыганенка, то в ангела, то в мифологического амура. Я изображал его со скрипкой бродячего музыканта, в терновом венце пронзенного гвоздями мученика, с факелом Эрота. В конце концов мне до того полюбились все проказы мальчика, что я взял да и попросил его родителей, бедняков, уступить его мне, посулив, что буду его одевать, платить ему немного денег и не обременять его другими заботами, кроме как мыть мои кисти и бегать с поручениями. Когда его отскребли от грязи, он стал прелестным ребенком, и жизнь у меня показалась ему раем по сравнению с тем, чего натерпелся он в родительской лачуге. Скажу лишь, что иногда этот малыш удивлял меня странными приступами преждевременной в его годы тоски и что вскоре он проявил неумеренное пристрастие к сахару и ликерам; как-то раз, обнаружив, что, хоть я уже много раз его предупреждал, он опять посягнул на мои припасы, я пригрозил, что отправлю его обратно к родителям. Потом я ушел по делам и довольно долго не возвращался.

Какой ужас и какое потрясение ждали меня дома, когда я вошел и вдруг вижу: мой малыш, мой шаловливый приятель висит на стенке шкафа! Его ноги почти касались пола; рядом валялся опрокинутый стул, который он, как видно, оттолкнул ногой; голова судорожно клонилась к плечу; сперва мне почудилось, что в распухшем лице и в широко распахнутых, пугающе неподвижных глазах еще сохранились признаки жизни. Снять его оказалось труднее, чем вы думаете. Он уже совсем окоченел, а я почему-то невыносимо боялся уронить его на пол с высоты. Пришлось, удерживая все его тело одной рукой, другой перерезать веревку. Но и это было еще не все: негодник воспользовался очень тонкой веревкой, которая глубоко впилась ему в тело, и теперь мне надо было маленькими ножницами добраться до этой веревки между двумя складками опухшей шеи, чтобы снять петлю.

Забыл вам сказать, я сразу же стал что было мочи звать на помощь; но все соседи отказались вмешаться, блюдя верность привычкам цивилизованного человека, который, уж не знаю почему, не желает иметь ничего общего с повешенным. Наконец пришел врач, объявивший, что ребенок умер уже несколько часов назад. Потом, когда нам пришлось раздевать его, чтобы затем обмыть и обрядить, трупное окоченение зашло уже так далеко, что, отчаявшись согнуть ему руки и ноги, мы разорвали и разрезали на нем одежду, иначе ее было не снять.

Комиссар, которому, естественно, я обязан был сообщить о случившемся, посмотрел на меня косо и изрек: „Дело темное!“, побуждаемый, само собой, неуемным желанием и профессиональной привычкой на всякий случай внушать страх правым и виноватым.

Оставалось исполнить последнюю обязанность, сама мысль о которой невыносимо меня удручала: надо было рассказать обо всем родителям. Ноги меня туда не несли. Но вот я собрался с духом. К великому моему удивлению, мать приняла новость бесстрастно, без единой слезинки. Я приписал это странное равнодушие тому ужасу, который она, должно быть, испытывала, и вспомнил известное изречение: „Самое жестокое горе — безмолвное горе“. А отец ограничился тем, что изрек с тупым и глубокомысленным видом: „Что ж, так оно, может, и лучше; все равно бы он добром не кончил!“

Покойный между тем был простерт на моем диване, и я вдвоем со служанкой занимался последними хлопотами, как вдруг в мастерскую вошла мать. Она сказала, что хочет видеть тело. Разумеется, я не мог помешать ей испить до дна чашу горя, отказать в этом последнем зловещем утешении. Затем она попросила, чтобы я показал место, где повесился ее мальчик. „Нет, нет, сударыня, — возразил я, — это причинит вам боль“. Но глаза мои невольно обратились к злополучному шкафу, и я с отвращением, ужасом и яростью обнаружил, что из его стенки до сих пор торчит гвоздь, с которого свисает длинный кусок веревки. Я поскорей бросился вытаскивать эти по-

следние следы несчастья и хотел выбросить их в открытое окно, но бедная женщина схватила меня за руку и проникновенно произнесла: „Ах, сударь, оставьте мне это! Прошу вас! Умоляю!“ Она, казалось, так обезумела под влиянием отчаяния, что с нежностью цеплялась за то, что послужило ее сыну орудием смерти, и хотела сохранить эти вещи как ужасную и дорогую реликвию. Я отдал ей гвоздь и бечевку.

Ну вот, ну вот, вскоре все было кончено. Мне оставалось вновь приняться за работу, еще усерднее, чем всегда, чтобы понемногу изгнать из мыслей неотвязный маленький труп, видение, донимавшее меня неподвижным взглядом широко распахнутых глаз. Но на другой день я получил пачку писем: и от соседей по дому, и от жильцов соседних домов, с первого этажа, со второго, с третьего и так далее, одни — в полушутливом стиле, словно они стремились игривым тоном прикрыть серьезность просьбы, другие — тяжеловесно-бесстыдные и безграмотные, но все они преследовали одну цель: добыть у меня кусок зловещей веревки, приносящей удачу. Замечу, что среди подписавших письма было больше женщин, чем мужчин, но никто из них, поверьте, не принадлежал к черни, к низам общества. Я сохранил эти письма.

И тут внезапно на меня снизошло озарение, и я понял, зачем мать так настойчиво выпрашивала у меня бечевку и какой коммерцией собиралась утешиться».

XXXI. ПРИЗВАНИЯ

В прекрасном саду, где лучи осеннего солнца, казалось, беспричинно медлили под небом, уже подернутым зеленью, по которому, словно плавучие материки, тянулись золотые облака, болтали четверо славных детей, четверо мальчиков, успевших, видимо, наиграться и устать.

Первый сказал:

— Вчера меня водили в театр. Там, в просторных печальных дворцах, на фоне моря и неба, разговаривают

певучими голосами мужчины и женщины, серьезные и тоже печальные, но куда прекраснее и одетые лучше, чем те, кого мы видим каждый день. Они угрожают, умоляют, предаются отчаянию и то и дело тянутся рукой к заткнутому за пояс кинжалу. Ах, до чего прекрасно! Женщины гораздо красивей и выше, чем гостьи, которые приходят к нам домой, и хотя их огромные пустые глаза и пылающие щеки наводят жуть, невозможно удержаться, чтобы не полюбить их. И страшно, и плакать хочется, и все равно хорошо... А еще, и это самое странное, хочется самому так же одеться, произносить и делать то же, говорить таким же голосом...

Один из четырех детей уже несколько мгновений не слушал приятеля и необыкновенно пристально вглядывался в какую-то точку на небе; вдруг он сказал:

— Смотрите, смотрите туда!.. Видите *его*? Он сидит на той маленькой отдельной тучке, на огненной тучке, плывущей так медленно... Кажется, *он* тоже на нас смотрит.

— Но кто, кто? — спросили другие.

— Бог! — с полным убеждением ответил он. — А! Вот он уже далеко; еще чуть-чуть, и вам будет не видно. Ясное дело, он путешествует, осматривает всю землю. Погодите, сейчас он минует полоску деревьев, там, почти на горизонте... а теперь опускается за колокольню... Ну, все, больше его не видать! — и ребенок долго стоял, повернувшись в ту сторону, устремив глаза, блестевшие невыразимым сожалением и восторгом, на линию, отделяющую небо от земли.

— Какой он глупый с этим его Богом, которого только он один и видит! — сказал тут третий, чья маленькая фигурка была проникнута удивительной бодростью и жизнелюбием. — А я расскажу вам, как со мной приключилось такое, чего с вами никогда не бывало, и это будет поинтереснее, чем ваш театр и ваши тучи. Несколько дней тому назад родители взяли меня с собой в путешествие, но на постоялом дворе, где мы ночевали, не хватило кроватей на всех, и меня решили уложить в одну постель с бонной. — Он притянул приятелей по-

ближе к себе и понизил голос. — Послушайте, до чего же странно лежать в потемках не одному, а с бонной! Я не спал и, пока она спала, развлекался тем, что водил рукой по ее рукам, шее, плечам. Руки и шея у нее гораздо толще, чем у других женщин, а кожа такая нежная, такая нежная — как почтовая или шелковая бумага. Мне было так приятно, что я не унялся бы еще долго, если бы не страх, — сперва я боялся ее разбудить, а потом уж и не знаю чего. Тогда я зарылся лицом в волосы, что падали ей на спину, густые, как грива, и пахли они до того хорошо, клянусь вам, как цветы в саду. Попробуйте сами при случае, и сразу всё поймете![40]

Во время рассказа юный автор этого изумительного открытия таращил глаза, изумленный ощущением, волновавшим его до сих пор, и луч заходящего солнца, скользя сквозь рыжие кольца его растрепанной шевелюры, словно зажег еретический ореол страсти вокруг его головы. Легко было догадаться, что этот мальчик не станет растрачивать жизнь на поиски Божества в облаках, а найдет его в другом месте, и не раз.

Наконец четвертый сказал:[41]

— Вы знаете, мне дома живется невесело; меня никогда не водят на спектакли, мой опекун слишком скуп, Богу нет дела до меня и моей тоски, и у меня нет красивой бонны, чтобы меня баловать. Мне часто казалось, что хорошо бы идти да идти вперед, куда глаза глядят, и чтоб никому до меня не было дела, и все время видеть новые страны. Мне нигде не бывает хорошо и всегда мнится, что лучше там, где меня нет. Вот недавно, на ярмарке в соседней деревне, видал я трех человек, что живут так, как мне бы хотелось. Вы-то на них не обратили внимания. Они были высокие, смуглые до черноты и очень гордые, хоть и оборванные, и видно было, что никто им не нужен. Их большие темные глаза так ярко сверкали, когда они заиграли музыку, и музыка была такая поразительная, что под нее хотелось то плясать, то плакать, а может быть, и то и другое вместе, и казалось, если слушать их слишком долго, сойдешь с ума. Один, водя смычком по скрипке, словно рассказывал о ка-

ком-то горе, а другой, заставляя молоточек прыгать по струнам маленького пианино, висевшего на ремне у него на шее, словно посмеивался над жалобами соседа, между тем как третий время от времени с необычайной горячностью потрясал своими цимбалами. Они были так довольны сами собой, что продолжали играть свою дикарскую музыку и после того, как толпа разошлась. Наконец они собрали медяки, вскинули на спины поклажу и ушли. Мне хотелось узнать, где они живут; следя за ними издали, я дошел до лесной опушки, и только там вдруг понял, что они не живут нигде.

Один из них сказал: «Разобьем палатку?»

«Ни к чему! — ответил другой, — такая славная ночь!»

Третий сказал, подсчитав выручку: «Эти люди не чувствуют музыку, а их женщины пляшут, как медведи. К счастью, не пройдет и месяца, как мы будем в Австрии, там народ поприветливей».

«А не двинуться ли нам поближе к Испании? Лето идет к концу; хорошо бы успеть до дождей, а если что и промочим, так только горло», — предложил один из тех двоих.

— Видите, я все запомнил. Потом они выпили по чашке водки и заснули лицом к небу. Сперва мне хотелось попросить, чтобы они взяли меня с собой и научили играть на своих инструментах, но я не посмел, конечно, потому что так трудно на что-то решиться, а кроме того, я боялся, что меня все равно догонят раньше, чем я уйду из Франции.

Я заметил, что остальным трем детям не очень-то интересно, и подумал, что этот малыш уже — *непонятая душа.* Я присмотрелся к нему повнимательней; в глазах и на лбу у него было нечто фатальное, то, что, как правило, отталкивает людей, но меня почему-то влекло к нему, и в голову мне пришла странная мысль: а вдруг у меня есть брат, о котором я ничего не знаю?

Солнце село. Наступила торжественная темнота. Дети расстались, и каждый поспешил безотчетно,

по воле событий и случая, пестовать свою судьбу, приводить в негодование близких и следовать по орбите славы или позора.

XXXII. ТИРС

Ференцу Листу[42]

Что такое тирс? В моральном и поэтическом смысле это — священнодейственная эмблема в руках жрецов или жриц, славящих божество, при котором они состоят истолкователями и служителями. Но физически это просто палка, обыкновенная палка, шест, увитый хмелем, подпорка для винограда, сухая, прочная и прямая. Вокруг этого шеста капризными меандрами озорничают и резвятся стебли и цветы, те — увертливые и проворные, эти — клонясь долу, как колокола или опрокинутые бокалы. И удивительное величие брызжет из этого переплетения линий и красок, нежных или кричащих. Что если кривая и спираль любовно заигрывают с прямой и танцуют вокруг нее в немом обожании? Что если все эти изящные венчики, все эти чашечки, вспышки запахов и красок исполняют вокруг священного жезла мистическое фанданго? И все же, какой неразумный смертный дерзнет решить, цветы ли и ветви с гроздями и листьями созданы ради палки, или палка — всего лишь предлог, чтобы явить красоту ветвей и цветов? Тирс — это отражение вашей удивительной двойственности, милый вакхан страстной и таинственной Красоты. Ни одна обуянная непобедимым Бахусом нимфа не потрясала тирсом над головами безумных подруг так своевольно и мощно, как вы помаваете своим гением над сердцами ваших собратьев. Палка — это ваша воля, прямая, твердая, незыблемая; цветы — это прогулки вашей фантазии вокруг вашей же воли; это женское начало, исполняющее вокруг мужчины-самца изумительные пируэты. Прямая и арабеска, намерение и выражение, несгибаемость воли, извилистость глагола, единство цели, разнообра-

зие средств, всевластный и неделимый сплав гениальности, — какой толкователь, одержимый гнусным усердием, дерзнет расщепить и разлучить вас?

Милый Лист, сквозь туманы, по ту сторону великих рек, поверх городов, где поют вам славу рояли, где воплощают вашу мудрость типографии, среди пышности вечного города или в туманах задумчивых стран, которым несет утешенье Камбринус,[43] там, где вы ныне импровизируете песни наслаждения или неизбывной боли либо доверяете бумаге ваши смутные думы, певец вечной Неги и вечной Тоски, философ, поэт и артист, — приветствую вас в бессмертии!

XXXIII. ОПЬЯНЯЙТЕСЬ

Пьяным нужно быть всегда. Это — всё: в этом всё дело. Чтобы не чувствовать тяжкого груза Времени, что сокрушает вам плечи и пригибает к земле, нужно постоянно опьяняться.

Но чем? Вином, поэзией или добродетелью — чем хотите. Но опьяняйтесь.

А если невзначай, на ступеньках дворца, на зеленой траве в лощине, в сумрачном одиночестве собственной спальни, вы очнетесь — а хмель истончился или прошел, спросите у ветра, у волны, у звезды, у птицы, у стенных часов, у всего, что ускользает, стонет, катится, поет, говорит, — спросите, который час; и ветер, волна, звезда, птица, стенные часы вам ответят: «Пора опьяняться! Чтобы не быть рабами, которых терзает Время, — опьяняйтесь; опьяняйтесь без конца! Вином, поэзией или добродетелью, чем хотите».

XXXIV. УЖЕ!

Сто раз уже солнце, то лучезарное, то омраченное тучами, хлынуло из огромной морской купели, края которой с трудом различает глаз; сто раз оно вновь окуну-

лось, искрометное или угрюмое, в свою необъятную вечернюю ванну. Много дней нам было дано созерцать небосвод с обратной его стороны и разбирать небесный алфавит антиподов. И каждый из пассажиров стонал и брюзжал. Казалось, приближенье к земле обостряло их муку. «Когда же, — говорили они, — наш сон перестанут сотрясать морские валы, перестанет смущать ветер, храпящий громче нас? Когда мы отведаем мяса, не просоленного так же, как несущая нас отвратительная стихия? Когда сможем переваривать свой обед, сидя в недвижном кресле?»

Иные думали о домашнем очаге, тосковали о неверных и хмурых женах, о крикливом потомстве. Все так обезумели, рисуя себе образ далекой земли, что, кажется, были готовы с бóльшим восторгом, чем травоядные, щипать траву.

Наконец сообщили, что берег близок; и подплывая, мы увидали, что перед нами великолепная, ослепительно прекрасная земля. Казалось, с нее струится в смутном ропоте музыка жизни, и от ее берегов, пышно поросших разнообразной зеленью, веет на несколько лье восхитительным запахом цветов и плодов.

Всякий тут же повеселел, разогнал угрюмые мысли. Все ссоры были забыты, взаимные упреки отринуты; назначенные дуэли вычеркнуты из памяти, а обиды развеялись, как дым.

И только мне было грустно, непостижимо грустно. Подобно жрецу, у которого отняли божество, я не мог без душераздирающей горечи оторваться от этого моря с его сверхъестественным очарованьем, бесконечно изменчивого в своей пугающей простоте, — оно словно вбирало в себя и улыбками, гневом, всеми повадками, всею игрой воплощало настроения, восторги, агонии всех душ, что жили, живут или будут жить на свете!

И простившись с этой несравненной красой, я почувствовал себя смертельно разбитым. «Наконец-то!» — твердили мои попутчики, но я только и мог, что вскричать: «Уже!»

А ведь меня ожидала земля, земля с ее звуками, страстями, удобствами, праздниками; передо мной была богатая и великолепная земля, полная обещаний, с которой струился таинственный аромат розы и мускуса и ласковым ропотом долетала музыка жизни.

XXXV. ОКНА

Кто заглядывает снаружи в открытое окно, никогда не увидит столько, сколько тот, кто смотрит в закрытое. Нет на свете зрелища более глубокого, таинственного, плодотворного, сумрачного, ослепительного, чем окно, озаренное свечой. То, что видишь на солнце, всегда менее интересно, чем то, что творится за стеклом. В этой черной или светящейся норе живет, грезит, страдает сама жизнь.

По ту сторону вздымающихся волнами крыш я вижу женщину не первой молодости, с морщинками, бедную, вечно над чем-то склоненную; она никогда не выходит из дому. Из лица, одежды, манер этой женщины — в сущности, из ничего — я сложил ее историю, а вернее сказать — ее легенду, которую подчас рассказываю сам себе, проливая слезы.

Будь на ее месте какой-нибудь бедный старик — я бы с тою же простотой сложил и его историю.

Ложусь спать, гордый тем, что жил и страдал за других, а не только за себя самого.

Вы можете мне сказать: «А ты уверен, что твоя легенда правдива?» Не все ли равно, какова действительность, не имеющая ко мне отношения, если мне она помогает жить, чувствовать, что я живу и что я — это я?

XXXVI. ПОРЫВ К ЖИВОПИСИ

Быть может, горе тому человеку — но счастье тому художнику, что объят неодолимым порывом!

Я сгораю от желания запечатлеть ту, что являлась мне так редко и убегала так быстро, как все летящие на-

зад красоты, о которых грустит пассажир, уносясь в темноту. Как давно уже она исчезла!

Она красива и больше чем красива; она удивительна. Она — воплощенная тьма, и все, что она вам внушает, преисполнено ночной глубины. Ее глаза — две пещеры, из которых смутно мерцает тайна, а взгляд ее озаряет, как молния: это вспышка во мраке.

Я сравнил бы ее с черным солнцем, если бы можно было вообразить черное светило, струящее свет и счастье.[44] Но при взгляде на нее скорее приходит на ум луна, которая, несомненно, отметила ее своим опасным влиянием; и не та белая луна из идиллий, что похожа на холодную новобрачную, но зловещая и упоительная, парящая в глубине грозовой ночи и теснимая бегущими облаками; не мирная и скромная, что посещает сны неиспорченных душ, но та, что сорвана с неба, побежденная и мятежная, та, которую фессалийские колдуньи грубо принуждают плясать на объятой ужасом траве![45]

В ее головке обитают упрямая воля и любовь хищника к добыче. Однако в нижней части ее будоражащего душу лица, ниже трепетных ноздрей, впивающих неведомое и невозможное, с невыразимым благоволением вспыхивает усмешка большого рта, алая и белая восхитительная усмешка, навевающая мечты о чуде великолепного цветка, распустившегося на склоне вулкана.

Бывают женщины — хочется их покорить и насладиться ими; а эта внушает желание медленно умирать под ее взглядом.

XXXVII. БЛАГОДЕЯНИЯ ЛУНЫ

Луна, капризница, каких поискать, заглянула в окно, пока ты спала в колыбели, и сказала себе: «Этот ребенок мне по душе».

И вот она мягко спустилась по лестнице из облаков и бесшумно проникла сквозь оконные стекла. Потом простерлась над тобой по-матерински гибко и ласково и оттенила своими красками твое лицо. Твои зрачки с тех

пор остались зелеными, а щеки сделались необычайно бледны. Глаза стали странно огромны от созерцания этой гостьи; и, обнимая, она с такой лаской стиснула тебе горло, что с тех пор тебе всегда хочется плакать.

А потом Луна возликовала и затопила всю комнату своей фосфорической атмосферой, своей светоносной отравой; и весь этот живой свет мыслил и говорил: «Мой поцелуй будет вечно влиять на тебя. Ты будешь прекрасна по-моему. Ты полюбишь то, что я люблю и что любит меня: воду и облака, ночь и тишину; беспредельное зеленое море; безликую и многоликую воду; те места, где тебе не бывать; любовника, с которым не будешь знакома; чудовищные цветы; ароматы, навевающие бред; кошек, замирающих на роялях, стонущих, как женщины, хрипло и нежно!

И мои любовники будут тебя любить, мои поклонники будут тебе поклоняться. Ты станешь королевой зеленоглазых мужчин, тех, кому я тоже стиснула горло в ночной ласке; тех, что любят море, беспредельное море, зеленое и смятенное, безликую и многоликую воду, те места, где их нет, ту женщину, которая им незнакома, зловещие цветы, похожие на кадильницы неведомых культов, ароматы, колеблющие волю, и диких и сладострастных зверей, что служат эмблемой их безумию».

Вот почему, проклятое, милое, балованное дитя, я лежу теперь у твоих ног и во всем твоем облике ищу отражение грозного Божества, твоей вещей крестной, кормилицы и отравительницы всех *лунатиков*.

XXXVIII. КТО ИЗ НИХ НАСТОЯЩАЯ?

Я знал некую Бенедикту, все вокруг нее было проникнуто идеалом, ее глаза внушали порывы к величью, славе и красоте — ко всему, что заставляет верить в бессмертие.

Но эта изумительная девушка была слишком хороша, такие долго не живут; и вот она умерла спустя несколько дней после того, как я познакомился с ней, и я

сам хоронил ее в день, когда весна размахнула своей кадильницей аж до самого кладбища. Я сам ее хоронил, накрепко запертую в гробу из ароматной, нетленной древесины, похожем на индийский ларец.

И когда я стоял, не отрывая глаз от места, где было зарыто мое сокровище, внезапно я заметил маленькое существо, поразительно напоминавшее покойную; в необъяснимой истерической ярости топча ногами рыхлую землю, оно говорило, заливаясь хохотом: «Настоящая Бенедикта — это я! Я, всем известная дрянь! И в наказанье за то, что ты был так безумен и слеп, ты будешь любить меня, такую как есть!» Я гневно ей возразил: «Нет! Нет! Нет!» И в подтвержденье отказа так яростно топнул, что нога моя по колено ушла в землю свежей могилы, и теперь я, как волк, угодивший в капкан, прикован — может быть, навсегда — к яме, в которой погребен идеал.

XXXIX. ПОРОДИСТАЯ ЛОШАДЬ

Пожалуй, она безобразна. Но до чего прелестна!

Время и Любовь отметили ее своими когтями и, не щадя, показали ей, как с каждой минутой и с каждым поцелуем уходят свежесть и молодость.

В самом деле, она безобразна; она — муравей, паук или, если угодно, сущий скелет; но она и целебный напиток, волшебное зелье, колдовские чары! Словом, она бесподобна.

Время не сумело в ней истребить искрометную гармонию движений, несокрушимую элегантность каркаса. Любовь не испортила ее сладкого детского дыхания, а Время не вырвало ни волоска из ее пышной гривы, от которой дикарскими ароматами исходит вся бешеная живучесть французского Юга — Нима, Экса, Арля, Авиньона, Нарбонна, Тулузы, — благословленных солнцем городов, чарующих и влюбленных!

Напрасно Время и Любовь жадно вгрызались в нее; они ничуть не повредили зыбкому, но вечному очарованию ее мальчишеской груди.

Потрепанная, быть может, но не усталая и по-прежнему доблестная, она подобна тем лошадям благородных кровей,[46] которых всегда распознает взгляд настоящего любителя, — даже запряженных в наемную карету или в тяжелую фуру.

И потом, она так ласкова и так горяча! Она любит, как любят осенью; близость зимы словно разжигает у нее в сердце новое пламя, и ничего утомительного нет в ее раболепной нежности.

XL. ЗЕРКАЛО

Входит страшный урод и смотрится в зеркало.

«Зачем вы глядите на свое отражение? Ведь то, что вы видите, не доставит вам радости».

Страшный урод отвечает мне: «Сударь, в согласии с бессмертными принципами восемьдесят девятого года,[47] все люди равны в правах; следовательно, я имею право себя рассматривать; а приятно это мне или неприятно — это касается лишь меня и моей совести».

С точки зрения здравого смысла я, несомненно, прав; но с точки зрения закона правда на его стороне.

XLI. ПОРТ

Порт — прелестное пристанище для души, уставшей от жизненных битв. Ширь небес, подвижная архитектура облаков, переливающиеся краски моря, мерцание маяков — вот призма, которой присуще волшебное свойство радовать взгляд, никогда его не утомляя. Стройные формы кораблей с мудреными снастями, мерно качающимися в такт морской зыби, укрепляют в душе пристрастие к ритму и красоте. И потом, и главное, тому, кто лишен любопытства и честолюбия, дана таинственная и аристократическая радость созерцать, лежа на бельведере или облокотившись о парапет на молу, как

снуют те, кто прибыл и кто отбывает, те, у кого есть еще силы чего-то хотеть, есть желание странствовать и обогащаться.

XLII. ПОРТРЕТЫ ЛЮБОВНИЦ

В мужском будуаре, то бишь в курительной элегантного игорного дома, курили и болтали четверо. Не слишком молодые, но и не старики, не уроды, но, пожалуй, и не красавцы, они были отмечены тем неуловимым знаком отличия, по которому узнаются ветераны чувственных радостей: в них было нечто неописуемое, та холодная и насмешливая печаль, что недвусмысленно говорит: «Мы хорошо пожили, а теперь ищем, к чему бы нам привязаться и что уважать».

Один из них перевел разговор на женщин. Философу скорее подобало бы вообще о них не упоминать, но иные умные люди после бокала вина не прочь от банальных разговоров. Собеседника в этих случаях слушают, как слушали бы танцевальную музыку.

— Все мужчины, — говорил тот, — были когда-то в летах Керубино:[48] в эту пору, ежели не подвернется дриада, без отвращения целуют и ствол дуба. Это первая ступень любви. На второй ступени начинают выбирать. Колебания — это уже начало декаданса. Принимаешься упорно искать красоту. Ну, а я, друзья мои, горжусь тем, что давно уже вошел в критическую пору, то есть достиг третьей ступени, на которой сама по себе красота уже не удовлетворяет, если не сдобрена духами, украшениями *et caetera*.[49] Признаюсь даже, что иногда, как о неведомом счастье, мечтаю о некой четвертой ступени, несущей, должно быть, полный покой. Но всю жизнь, не считая возраста Керубино, я был более других чувствителен к раздражающей глупости женщин, к их вопиющей заурядности. Мне и в животных более всего нравится их простодушие. Судите сами, сколько страданий претерпел я от моей последней любовницы.

Она была побочной дочерью одного принца. Хороша собой, этого у нее не отнимешь; иначе с какой стати я

стал бы терять с ней время? Но сие достоинство не искупало ее неуместного и безобразного тщеславия. Эта женщина постоянно хотела играть мужчину. «Вы не мужчина! Ах, если бы я была мужчиной! Из нас двоих мужчина — я!» Вместо песен, которые мне хотелось услыхать, с ее губ то и дело срывался этот невыносимый рефрен. По поводу книги, стихотворения, оперы, которыми я мимоходом восхищался, она тут же возражала: «По-вашему, это очень сильно? Разве вы понимаете, что такое сила?» — и приводила свои доводы.

В один прекрасный день она увлеклась химией; теперь между нашими губами всегда оказывался заслон из стекла. Вдобавок она превратилась в недотрогу. Стоило мне потревожить ее чуть-чуть более порывистой лаской, она судорожно сжималась, как поруганная девственница...

— Чем это кончилось? — спросил один из трех остальных. — Я и не знал, что вы так терпеливы.

— Бог посылает лекарство вместе с хворью, — возразил первый. — Однажды я застал мою Минерву, изголодавшуюся по идеальной силе, наедине с лакеем, причем в таком положении, что мне оставалось лишь удалиться потихоньку, чтобы не вогнать их в краску. В тот же вечер я спровадил обоих, уплатив все, что им причиталось в счет содержания.

— А мне, — подхватил тот, кто его перебил, — не на кого жаловаться, кроме себя самого. Ко мне в дом пришло счастье, но я его не узнал. Не так давно судьба послала мне радость общения с самой нежной, самой покорной, самой преданной из женщин... А какая безотказность! И притом ни следа страсти! «С удовольствием — если вам это будет приятно!» — таков был ее обычный ответ. Побейте палкой эту стену или это канапе — вы исторгнете у них больше вздохов, чем исторгали из груди моей любовницы порывы самой неистовой любви. После года совместной жизни она призналась мне, что никогда не испытывает наслаждения. Эта неравная дуэль мне опротивела; несравненная девушка вышла замуж. Позже мне пришла в голову фантазия ее повидать,

и она призналась мне, показав шестерых прекрасных детей: «Что ж, друг мой, супруга осталась так же *девственна*, как была ваша возлюбленная». Она нисколько не переменилась. Иногда я о ней жалею: мне следовало на ней жениться.

Остальные рассмеялись, а третий в свой черед сказал:

— Господа, я изведал радости, которыми вы, быть может, пренебрегли. Я хочу сказать о том, что́ бывает в любви смешного, причем это смешное не исключает восхищения. Я, наверно, больше восхищался своей последней любовницей, чем вы ненавидели или любили ваших. И все восхищались ею так же, как я. Когда мы входили в ресторан, спустя несколько минут все забывали о еде и смотрели только на нее. Даже официанты и дама за стойкой, пренебрегая своими обязанностями, впадали в этот заразительный экстаз. Короче, некоторое время я жил нос к носу с живым *феноменом*. Она ела, жевала, перемалывала, пожирала, поглощала — и все это с самым что ни на есть небрежным и беспечным видом. Я и сам долго пребывал в экстазе. С каким нежным, мечтательным, английским и романтическим видом она говорила: «Я голодна!» И твердила эти слова днем и ночью, демонстрируя самые хорошенькие зубки на свете, которые вас и умиляли, и в то же время смешили. Я мог бы разбогатеть, показывая ее на ярмарках как *всеядное чудовище*. Кормил я ее хорошо, и все же она меня бросила...

— Надо думать, ради торговца снедью!

— Кажется, то был чиновник в интендантстве или что-то вроде — он какими-то ему одному ведомыми ухищрениями обеспечил, вероятно, бедной девочке рацион нескольких солдат. Во всяком случае, таковы мои догадки.

— А я, — сказал четвертый, — натерпелся жестоких мук из-за противоположности тому, что обычно ставят в упрек женскому эгоизму. По мне, все вы баловни счастья, и ваши жалобы на несовершенство любовниц воистину неуместны!

Это было высказано очень серьезно, а говоривший выглядел кротко и степенно, и даже чем-то напоминал бы духовную особу, когда бы лицо его, к сожалению, не озаряли светло-серые глаза, те самые глаза, взгляд которых словно говорит: «Хочу!», или «Так надо!», или даже «Я никогда не прощаю!»

— Если бы вы, Г..., с вашими нервами, или вы оба, К... и Ж..., трусливые и легкомысленные, связались с одной моей знакомой, вы бежали бы прочь или вас уже не было бы в живых. Я вот выжил, как видите. Вообразите себе создание, которое никогда не допускает промахов ни в чувстве, ни в расчетах; вообразите самую несносную безмятежность нрава; непритворную и ненаигранную преданность; кротость, лишенную слабости; энергию, свободную от жестокости. История моей любви похожа на бесконечное путешествие по чистой и гладкой, как зеркало, поверхности, однообразной до головокружения, отражающей все мои чувства и жесты с издевательской точностью моей собственной совести, так что стоило мне позволить себе безрассудное чувство или движение, как сразу же неотвязное мое привидение смотрело на меня с немым упреком. Любовь казалась мне чем-то вроде опеки. От скольких глупостей она меня удержала — и как жаль, что я не совершил их! Сколько долгов, выплаченных нехотя! Она лишала меня всех преимуществ, которые я мог бы извлечь из своих сумасбродств. Любой мой каприз она осаживала холодными и нерушимыми правилами. В довершение ужаса, когда опасность миновала, она не требовала благодарности. Сколько раз я сдерживался, чтобы не вцепиться ей в горло с воплем: «Перестань быть совершенством, несчастная, дай мне любить тебя без неловкости и злобы!» Я восхищался ею несколько лет, кипя от ненависти. Но умер-то от этого не я!

— Ах, так она умерла? — вскричали остальные.

— Умерла. Дальше так продолжаться не могло. Любовь превратилась для меня в тягостный кошмар. Победа или смерть — изъясняясь языком политики, такую альтернативу навязала мне судьба. Однажды вечером, в

лесу... на краю болота... после меланхолической прогулки, во время которой ее глаза лучились небесной кротостью, а мое сердце корчилось в адской злобе...

— Как!

— Неужто!

— Что вы хотите сказать?

— Это было неизбежно. Я слишком справедлив, чтобы ударить, оскорбить или рассчитать безупречного слугу. Но чувство справедливости нужно было примирить с ужасом, который внушало мне это создание; мне требовалось избавиться от этой женщины, нисколько не отказав ей в уважении. Как, по-вашему, мне оставалось с ней поступить, *раз уж она была совершенством*?

Трое других глянули на приятеля смущенно и с легкой оторопью, словно притворялись, что не понимают, и молчаливо признавали, что не чувствуют себя способными на столь суровый, хотя и вполне оправданный поступок.

Затем велели принести новые бутылки, чтобы убить неподатливое Время и поторопить Жизнь, которая течет так медленно.

XLIII. ГАЛАНТНЫЙ СТРЕЛОК

Когда карета катила через лес,[50] он велел остановиться возле тира, говоря, что недурно было бы сделать несколько выстрелов, чтобы *убить* Время. Расправа с этим чудовищем — самое что ни на есть обычное, законное занятие для всех нас, не так ли? И вот он галантно предложил руку своей любимой, восхитительной и ненавистной жене, — загадочной женщине, которой обязан столькими негами, столькими муками, а может быть, и немалой частью своих дарований.

Несколько пуль угодили далеко от предложенной цели; одна даже попала в потолок; очаровательное создание залилось безудержным смехом, издеваясь над неловкостью супруга, и тогда он порывисто повернулся к ней и сказал: «Обратите внимание на куклу там, справа,

ту, которая с таким высокомерным видом задирает нос. Что ж, ангел мой, *представлю себе, что это вы».* Зажмурился и спустил курок. Голова куклы разлетелась вдребезги.

Затем, поклонившись своей любимой, своей восхитительной, своей ненавистной жене, своей неотвязной и безжалостной музе, и почтительно целуя ей руку, он добавил: «Ах, ангел мой, как я вам благодарен за свою меткость!»

XLIV. СУП И ОБЛАКА

Моя милая обожаемая сумасбродка угощала меня обедом, и в открытое окно столовой я созерцал движущуюся архитектуру, сотворенную Господом из пара, волшебные постройки, воздвигнутые из неосязаемого. И погруженный в созерцание, я говорил себе: «Все эти фантасмагории красотой почти не уступают моей прекрасной возлюбленной, чудовищной зеленоглазой сумасбродке».

Как вдруг на мою спину обрушился безжалостный удар кулака, и я услыхал хриплый и чарующий голос, истерический, точно заржавевший от водки, голос моей милой возлюбленной сумасбродки, и этот голос говорил: «Ну, будете наконец есть суп, растреклятый вы чертов торговец облаками?»

XLV. ТИР И КЛАДБИЩЕ

— Кафе «Вид на кладбище»... Странная вывеска, — говорит себе наш праздношатающийся, — зато как нельзя удачнее возбуждает жажду! Хозяин этого кабачка, несомненно, умеет ценить Горация[51] и поэтов школы Эпикура. Может быть, ему даже ведома глубокая утонченность древних египтян, для которых пир был не пир без скелета или без какой-нибудь эмблемы быстротечности жизни.[52]

И вот он вошел, выпил лицом к могилам стакан пива и медленно выкурил сигару. Потом ему взбрело в голову заглянуть на кладбище, что поросло такой высокой, манящей травой и было затоплено таким щедрым солнцем.

И впрямь, там бушевали свет и жара, и казалось, пьяное солнце растянулось во весь рост на ковре из великолепных цветов, удобренных тлением. Воздух полнило немолчное гудение жизни, — жизни мельчайших созданий; время от времени его перебивал треск выстрелов из соседнего тира, которые с внезапностью пробки, вылетающей из бутылки шампанского, взрывали жужжание негромкой симфонии.

И тут на одуряющем солнцепеке, в атмосфере жгучих запахов Смерти он услыхал голос, шептавший из-под надгробия, на которое он присел. Этот голос говорил: «О вы, неугомонные живые, которым нет никакого дела до мертвых и до их божественного покоя, будь прокляты ваши мишени и карабины! Будь прокляты ваши чаяния, будь прокляты ваши расчеты, нетерпеливые смертные, вы, что приходите к святилищу Смерти, чтобы поупражняться в искусстве убивать! Если бы вы знали, как легко выиграть приз, как легко поразить цель и как все ничтожно, кроме Смерти, вы бы так не надрывались, о трудолюбивые смертные, и реже тревожили сон тех, что давно уже угодили в Цель, в единственную бесспорную цель ненавистной жизни!»

XLVI. УТРАТА ОРЕОЛА

— Как, дорогой мой, вы — здесь? В этом притоне? Вы, утоливший жажду квинтэссенциями! А голод — амброзией! Право, вы меня изумляете!

— Друг мой, вам известен мой ужас перед лошадьми и каретами. Сейчас, торопливо переходя бульвар, пробираясь по грязи прыжками сквозь весь этот движущийся хаос, где смерть галопом летит на вас разом со всех сторон, я сделал резкое движение — и мой ореол соскользнул с головы прямо в месиво на мостовой. У меня не

хватило духу его подобрать: я рассудил, что лучше лишиться регалий, чем быть раздавленным в лепешку. И потом, рассудил я, нет худа без добра. Теперь я могу разгуливать инкогнито, совершать подлости, обжираться и напиваться, как простые смертные. И вот я здесь, сами видите, совсем как вы!

— Вы бы хоть дали объявление о своем ореоле или обратились за ним в полицию.

— И не подумаю! Мне и здесь хорошо. Вы единственный меня узнали. И вообще, достоинство меня тяготит. Притом мне радостно думать, что его подберет какой-нибудь скверный поэт и бесстыдно напялит себе на голову. Какое наслаждение — осчастливить другого! Особенно того, кто мне смешон! Представьте себе X или Z! О, до чего это будет забавно!

XLVII. МАДЕМУАЗЕЛЬ БИСТУРИ

На самой окраине предместья, шагая в неверном свете газовых фонарей, я почувствовал, как на руку мне мягко легла чья-то рука, и чей-то голос шепнул мне на ухо: «Сударь, вы врач?»

Я оглянулся: передо мной была рослая, крепкая девица с широко распахнутыми глазами, слегка нарумяненная; ветер трепал ее волосы вместе с лентами чепца.

— Нет, я не врач. Позвольте пройти.

— Неправда, вы врач. Я-то вижу. Пойдемте со мной. Ну пойдемте, не пожалеете!

— Я непременно навещу вас, но как-нибудь в другой раз, *после врача*, черт побери!..

— Ах, ах, — возразила она, по-прежнему цепляясь за мою руку и заливаясь смехом, — вы не только врач, но и шутник, мне уже попадались такие. Пойдемте.

Я страстно люблю тайны, потому что всегда надеюсь их разгадать. Итак, я покорился и пошел за своей новой знакомой, а вернее, за этой неожиданной загадкой.

Опущу описание ее убогой комнатки, его можно найти у многих весьма известных старых французских поэ-

тов. И только по стенам — деталь, которой не найдешь у Ренье,[53] — были развешаны несколько портретов знаменитых врачей.

Как меня обласкали! Жаркий огонь в очаге, глинтвейн, сигары. Забавная незнакомка потчевала меня всем этим, сама попыхивая сигарой и приговаривая: «Будьте как дома, друг мой, располагайтесь поудобнее. Это напомнит вам больницу и золотые деньки молодости. Погодите-ка, откуда у вас взялись седые волосы? Еще совсем недавно, когда вы были интерном в Л., у вас не было седины... Помню, вы ассистировали во время сложных операций. Был там один любитель резать, кроить и кромсать! А вы подавали ему инструменты, нитки и губки. Помню, после операции он гордо объявлял, взглянув на часы: «Пять минут, господа!» Да, уж я-то всюду бываю. Уж я-то знаю этих господ.

Немного погодя она перешла со мной на ты и вновь заладила свое:

— Ты врач, котик, правда же?

Этот непостижимый рефрен заставил меня вскочить.

— Нет! — яростно заорал я.

— Тогда хирург?

— Нет, нет! Хотя еще немного — и я тебе голову отрежу! К черту, к чертовой матери, к чертовой бабушке!

— Погоди, — отозвалась она, — сейчас я тебе что-то покажу.

И достала из шкафа стопку листков, которые оказались коллекцией портретов известных медиков нашего времени, литографированных Мореном,[54] — несколько лет кряду ими были завалены лотки на набережной Вольтера.

— Смотри! Узнаёшь?

— Да, это X. Впрочем, его имя здесь указано, но я знаком с ним лично.

— Так я и знала! Гляди, а вот Z., тот самый, что говорил на лекции, имея в виду X.: «На лице этого чудовища отражается его черная душа». А все потому, что тот разошелся с ним во мнениях по одному вопросу! Как над этим смеялись в свое время на медицинском факультете!

Помнишь? Гляди, а вот К., тот, что донес правительству на мятежников, которых лечил у себя в больнице. Тогда были беспорядки.[55] Подумать только, такой красивый мужчина — и такой трус! А вот В., знаменитый английский доктор. Я подцепила его, когда он приезжал в Париж. На девушку похож, верно?

Я потянулся к перевязанному бечевкой пакету, тоже выложенному на столик.

— Погоди немного, — сказала она, — здесь у меня интерны, а там, в пакете, экстерны.

И она развернула веером кучу фотографических карточек, на которых виднелись гораздо более юные физиономии.

— В другой раз подаришь мне свою карточку, милый?

— И все-таки, — спросил я, тоже возвращаясь к своей навязчивой идее, — почему ты принимаешь меня за врача?

— Потому что ты так вежливо, так по-доброму обращаешься с женщинами!

— Странная логика! — пробормотал я про себя.

— Ну, меня не проведешь, я их знала очень много. Уж до того я люблю этих господ, даже хожу к ним иногда, хоть и не болею, а просто так, повидаться. Некоторые говорят мне сухо: «Вы ничем не больны!» — но есть и другие, те меня понимают, недаром же я на них гляжу умильно.

— А если не понимают?

— Само собой, оставляю им десять франков на камине, за *напрасное* беспокойство! В «Скорбящей»[56] нашла я одного мальчишку-интерна, хорошенького, что твой ангел, а какой любезный! А сколько работает, бедняжка! Его приятели сказали, у него нет ни гроша, потому что родители-бедняки ничего ему не посылают. Это меня обнадежило. В конце концов, я собой недурна, хоть и не первой молодости. Я ему сказала: «Приходи ко мне в гости, приходи почаще. И не стесняйся: мне деньги не нужны». Но сам понимаешь, все это я ему преподнесла обиняками, осторожно, а не брякнула прямо в лицо:

очень уж боялась унизить его, моего красавчика! Но веришь ли, есть у меня одно чудное желание, которое я не смею ему высказать! Мне бы хотелось, чтобы он навестил меня с чемоданчиком и в халате, и даже чтобы на халате было немного крови!

Все это она произнесла без малейшего смущения — так мог бы чувствительный человек сказать актрисе: «Я хотел бы увидеть вас в костюме, в котором вы исполняли ту вашу знаменитую роль...»

Но я упорно допытывался:

— А помнишь ли ты, когда, в каких обстоятельствах, завладела тобой эта столь необычная страсть?

Не сразу и не без труда втолковал я ей, чего я от нее добиваюсь. И тогда она ответила мне с убитым видом и даже, помнится, глядя куда-то вбок:

— Не знаю... Не помню.

Каких только странностей не встретишь в большом городе, если умеешь бродить и смотреть! Жизнь кишит безвинными чудовищами.

Господи мой Боже! Создатель и Вседержитель, Ты, что сотворил Закон и Свободу, Ты, снисходительный Владыка, всепрощающий Судия, Ты, сокрывший в себе столько побуждений и причин и, быть может, для того заронивший в моем разуме вкус к ужасному, чтобы обратить мое сердце к добру, — так исцеление приходит на острие скальпеля, — Господи, сжалься, сжалься над безумцами и безумицами! О Создатель! Разве могут существовать чудовища для Того единственного, кто знает, почему они такие, как они *получились* и как могли *не стать тем, что они есть*?

XLVIII. ANYWHERE OUT OF THIS WORLD
(Куда угодно прочь из этого мира)

Жизнь — больница, где каждый больной одержим желанием перебраться на другую койку. Тот хотел бы маяться поближе к печке, а этот полагает, что ему будет легче рядом с окном.

Я всегда подозреваю, что мне было бы лучше там, где меня нет, и все время веду со своей душой споры о том, куда бы нам перебраться.

«Скажи мне, душа, бедная моя охладевшая душа, не пожить ли нам в Лиссабоне? Там, наверно, тепло, и ты взыграешь духом, как ящерица. Этот город стоит на воде; говорят, он весь из мрамора и люди там настолько ненавидят растительность, что с корнем вырывают каждое деревце. Вот пейзаж, который придется тебе по вкусу, — пейзаж, сотканный из света, да камня, да воды, готовой их отражать!»

Душа не отвечает.

«Если ты так любишь покой, любишь смотреть на движение, — хочешь, переедем в Голландию, страну, дарующую блаженство? Может быть, тебя развлекут эти края, видами которых ты часто восхищалась в музеях? Что ты думаешь о Роттердаме, — ведь тебе же нравятся лес мачт и корабли, причаленные у самых домов?»

Душа безмолвствует.

«Или тебя больше манит Батавия? К тому же, мы обретем там европейский дух в сочетании с тропической красотой».

Ни слова. Может быть, моя душа мертва?

«Так, значит, ты настолько оцепенела, что тебе дорого только твое страдание? Коли так, бежим в те края, что подобны Смерти. За мной дело не станет, бедняжка душа! Соберемся — и в путь, на Торнео! Или еще дальше, к самой оконечности Балтики, еще дальше от жизни, если возможно; поселимся на полюсе. Там солнце лишь искоса, вскользь касается земли, и медленная смена света и тьмы исключает малейшее разнообразие и нагнетает ту монотонность, из которой наполовину соткано небытие. Там мы сможем надолго погружаться во мрак, и лишь северные сияния, чтобы нас потешить, время от времени будут посылать нам свои розовые снопы, словно отблески адских фейерверков!»

Наконец моя душа взрывается и кричит мне разумные слова: «Куда угодно! Куда угодно! Лишь бы прочь из этого мира!»

XLIX. БЕЙТЕ БЕДНЯКОВ!

На две недели запершись у себя в комнате, я окружил себя книгами, модными в те времена (лет шестнадцать-семнадцать тому назад); я имею в виду книги, трактующие об искусстве сделать народы счастливыми, мудрыми и богатыми в двадцать четыре часа. Итак, я переварил — вернее, проглотил — все измышления всех этих дельцов, подвизающихся на ниве общественного счастья, как тех, что советуют всем беднякам идти в рабство, так и тех, что внушают им, что все они — низложенные цари. Неудивительно, что я пребывал в расположении духа, близком не то к помрачению рассудка, не то к слабоумию.

Мне показалось, правда, что на дне моего интеллекта проклюнулся еле различимый росток идеи, превосходившей все расхожие рецепты, полное собрание коих я только что просмотрел. Но пока это была только идея идеи, нечто бесконечно смутное.

И вот я вышел из дому, сгорая от жажды. Потому что страстная приверженность к дрянному чтению порождает соответствующую потребность в свежем воздухе и прохладительных напитках.

Я собирался войти в кабачок, как вдруг нищий протянул мне шапку, сопровождая этот жест одним из тех незабываемых взглядов, которые опрокидывали бы троны, если бы дух двигал материей, а виноград созревал от взгляда магнетизера.[57]

В тот же миг я услыхал голос, нашептывавший мне на ухо; я прекрасно узнал этот голос — он принадлежал моему ангелу-хранителю, или демону-хранителю, который всюду следует за мной. Был же собственный демон у Сократа — так почему бы и мне не иметь своего ангела-хранителя, и почему я не могу удостоиться чести получить, подобно Сократу, свидетельство о безумии, подписанное проницательным Лелю и высокоученым Байярже?[58]

Разница между демоном Сократа и моим состоит в том, что тот являлся Сократу лишь для того, чтобы за-

щитить его, предупредить, удержать, а мой снисходит до советов, подсказок и уговоров. Демон бедняги Сократа был всего лишь налагателем запретов; мой — великий утвердитель; это деятельный демон, демон-борец.

И вот что он мне шепнул: «Равен другому только тот, кто это доказывает, а свободы достоин только тот, кто умеет добыть ее с бою».

Я немедля набросился на моего нищего. Единым ударом кулака я подбил ему глаз, который в секунду вспух до размеров мяча. Сломав себе ноготь, я выбил ему два зуба, и, не чувствуя в себе достаточно силы — сложенье у меня хрупкое, и я мало занимался боксом, — чтобы вздуть старикашку как следует, я одной рукой сгреб его за шиворот, другой ухватил за горло и стал нещадно колотить головой о стену. Должен признаться, что предварительно обвел взглядом окрестности и убедился, что в этом пустынном предместье мне на некоторое время не грозит вмешательство полицейских. Затем я ударом ноги, достаточно сильным, чтобы размозжить ему лопатки, поверг изнемогшего шестидесятилетнего старца на землю, ухватил толстую дубину, валявшуюся рядом, и начал охаживать его что было сил, с усердием повара, отбивающего бифштекс.

Как вдруг — о чудо! о торжество философа, поверившего опытом безупречность своей теории! — я увидал, как эта древняя развалина перевернулась, вскочила на ноги с энергией, которой я никак не ожидал от такого изношенного механизма, и вот, с ненавидящим взглядом, в котором я усмотрел *доброе предзнаменование*, мой дряхлый бродяга кинулся на меня, подбил мне оба глаза, выбил мне четыре зуба и, вооружившись той же дубиной, обрушил на меня град колотушек. Право, мое энергичное лечение вернуло ему гордость и жизнь.

Тут я замахал руками, давая ему понять, что считаю нашу дискуссию оконченной, и, поднимаясь с земли, довольный, как софист, проповедующий в тени портика,[59] сказал ему: «Сударь, *мы с вами равны*! Соблаговолите оказать мне честь, разделив со мною содержимое моего кошелька; и помните, если вы и впрямь филантроп, что

ко всем вашим собратьям, когда они попросят у вас милостыни, следует применять теорию, которую я *с болью* вынужден был испробовать на вашей спине».

Он поклялся мне, что понял мою теорию и последует моим советам.

L. ХОРОШИЕ СОБАКИ

Г-ну Жозефу Стевенсу[60]

Я никогда не краснел, даже перед моими молодыми современниками-писателями, за свое восхищение Бюффоном;[61] но сегодня не стану призывать себе на помощь душу этого живописателя великой природы, нет, не стану.

Обращусь-ка я лучше к Стерну[62] и скажу ему: «Спустись с небес или восстань ко мне с Елисейских полей и во имя добрых собак, бедных собак, вдохнови меня на песнь, достойную тебя, чувствительный и несравненный шутник! Вернись на землю верхом на знаменитом осле, что неизменно сопутствует тебе в памяти потомства, а главное, пускай твой осел не забудет своего бессмертного миндального печенья, которое он так деликатно сжимает губами!»

Назад, академическая муза! На что мне эта старая ханжа? Взываю к родной музе, городской, живой, — пускай поможет мне воспеть хороших собак, бедных, грязных собак, тех, которых все отпихивают, словно они зачумлены или покрыты паршой, кроме бедняка, который видит в них товарищей по несчастью, да поэта, который относится к ним по-братски.

Фу, самовлюбленные псы, четвероногие щеголи, — датский дог, болонка, мопс и прочие прохвосты — вы, которые так полны тщеславия, что бросаетесь прямо под ноги или на колени гостю, словно заранее уверены в своей неотразимости, неугомонные, как дети, глупые, как лоретки,[63] а подчас нахальные и сварливые, как слуги! А хуже всего эти змеи на четырех лапах, которых на-

зывают левретками: в их острых мордах не хватает чутья даже на то, чтобы пройти по следу друга, а в плоских головках слишком мало сообразительности, чтобы сыграть хоть в домино!

В конуру, надоедливые паразиты!

Убирайтесь в свою обитую шелком конуру! Пою грязную собаку, бедную собаку, бездомную собаку, праздношатающуюся собаку, — собаку бродячих акробатов, собаку, чей инстинкт, подобно инстинкту бедняков, цыган или скоморохов, обострился, повинуясь необходимости — доброй матери, истинной покровительницы ума!

Пою жалких собак, — и тех, что бродят в одиночку по извилистым канавам огромных городов, и тех, что моргающими умными глазами сказали обездоленному человеку: «Возьми меня с собой, и две наши с тобой нищеты, быть может, сложатся в какое-то подобие счастья!»

«*Куда идут собаки?*» — вопрошал некогда Нестор Рокплан в своем бессмертном фельетоне,[64] который он, конечно, уже забыл, и только я, да, быть может, еще Сент-Бёв[65] помним о нем сегодня.

Куда идут собаки? — спрашиваете вы, не слишком-то внимательные люди. Идут по своим делам.

Деловые встречи, любовные свидания. Сквозь туман, снег, грязь, в немилосердный зной, под проливным дождем — трусят они взад и вперед, уворачиваясь от карет, подгоняемые блохами, страстью, нуждой или долгом. Подобно нам они встали спозаранку и теперь ищут себе средств к пропитанию или бегут на поиски удовольствий.

Одни спят в каких-нибудь развалинах на окраине и каждый день в определенное время приходят требовать подачку к дверям какой-нибудь кухни в Пале-Рояле; другие сбиваются в стаи и пробегают по пять лье и больше за трапезой, которую приготовили им из милосердия шестидесятилетние девы, чьи незанятые сердца отданы животным, потому что неразумные мужчины их больше знать не хотят.

Другие, как беглые негры, ошалев от любви, в один прекрасный день покидают свою провинцию и мчатся в город, чтобы порезвиться часок вокруг красавицы сучки, не вполне опрятной, быть может, но гордой и благодарной.

И все они безукоризненно точны, все обходятся без блокнотов, без записей и без папок для бумаг.

Знаете ли вы ленивую Бельгию и восхищались ли вы, подобно мне, всеми этими дюжими псами, запряженными в тележку мясника, молочника или булочника и победным лаем возвещающими о том, какую горделивую радость приносит им соперничество с лошадьми?

А вот парочка, что поднялась на еще более высокую ступень цивилизации. Разрешите мне ввести вас в комнату бродячего акробата в отсутствие хозяина. Деревянная крашеная кровать без занавесок, смятые простыни в клопиных пятнах, два соломенных стула, чугунная печка, расстроенные музыкальные инструменты. Да, унылая обстановка! Но посмотрите, прошу вас, на этих двух разумных существ в потрепанных и вместе с тем роскошных нарядах, в шляпах, подобающих не то трубадурам, не то воякам, — они внимательно, как колдуны, следят, как кипит на медленном огне *безымянное варево*, из самой середины которого торчит длинная ложка, похожая на флагшток, возвещающий о том, что кладка стен закончена.

Разве не следует по справедливости дать этим рьяным актерам подкрепиться на дорогу наваристой и сытной похлебкой? И не простите ли вы каплю вожделения этим беднягам, которым предстоит целый день преодолевать равнодушие публики и несправедливость директора, который присваивает львиную долю и один съедает больше похлебки, чем четверо артистов?

Сколько раз я любовался, с улыбкой и с умилением, всеми этими четвероногими философами, услужливыми, покорными или преданными рабами, которых революционный словарь мог бы с полным правом причислить к *обслуживающему классу*,[66] если бы у республики, чересчур озабоченной *счастьем* людей, нашлось время позаботиться о *чести* собак!

И сколько раз я думал, что, может быть (в конце концов, откуда нам знать?), в награду за всю эту храбрость, терпение и труд существует где-нибудь особый рай для хороших собак, бедных, грязных и отчаявшихся. Утверждает же Сведенборг, что есть свой рай для турков и свой рай для голландцев![67]

Пастухи Вергилия и Феокрита[68] в награду за свои дистихи ожидали доброго сыра, флейту от лучшего мастера или козу с полными сосцами. Стихотворец, воспевший бедных собак, получил в вознаграждение отменный жилет роскошного и вместе с тем блеклого цвета, напоминающего об осеннем солнце, о красоте зрелых женщин и о бабьем лете.

Из тех, кто собирался в кабачке на улице Вилла-Эрмоса,[69] никто не забудет, с какой поспешностью художник стянул с себя тот жилет, чтобы пожертвовать его стихотворцу, — а все потому, что и впрямь понял, сколько доброты и честности в том, чтобы воспеть бедных собак.

Так щедрый итальянский тиран в старые добрые времена дарил божественному Аретино[70] то кинжал, усыпанный драгоценными камнями, то придворный плащ в обмен на прециозный сонет или забавную сатирическую поэму.

И всякий раз когда стихотворец натягивает жилет, полученный от художника, волей-неволей он вспоминает о хороших собаках, о собаках-философах, о бабьем лете и о красоте перезрелых женщин.

ЭПИЛОГ

Возвеселясь в душе, я поднялся на гору:
Притон, чистилище, ад, сумасшедший дом —
Вот дебри города, распахнутые взору,

Здесь расцветает грязь чудовищным цветком.
Взглянуть — и уронить слезинку между делом?
Свидетель Сатана — не вижу смысла в том;

О нет; но, к прелестям привержен перезрелым,
Льну к шлюхе чертовой, и снова молод я,
Упившись колдовским и необъятным телом.

С утра, когда храпишь, прикрыв горой тряпья
Свою тяжелую простуженную тушу,
Иль в блестках, вечером, — с тобой любовь моя,

Столица гнусная! Я ни воров не трушу,
Ни девок; в них подчас таится столько чар,
Но этим пошлую не очаруешь душу.

ФАНФАРЛО

Самюэль Крамер, подписавший некогда, в славную эпоху романтизма, несколько романтических своих шалостей именем Мануэлы де Монтеверде, был противоречивым плодом союза бледного немца и смуглой чилийки. Добавьте к этому двойственному происхождению французское воспитание и книжную культуру — и хотя едва ли одобрите и поймете причуды и вычуры его характера, но по крайней мере будете меньше изумляться. У Самюэля чистый благородный лоб, глаза, сверкающие подобно капелькам кофе, задорный насмешливый нос, дерзкие чувственные губы, квадратный подбородок деспота, а шевелюра вызывающе рафаэлевская.[1] Он одновременно великий бездельник, жалкий честолюбец и блистательное ничтожество, ибо всю жизнь его посещали лишь половинки идей. Лень, ярким солнцем вечно сверкающая внутри его, испаряет и иссушает ту половинчатую гениальность, что дана ему небом. Изо всех полувеликих людей, с которыми сводила меня кошмарная парижская жизнь, Самюэль более остальных был героем упущенных свершений; существо болезненное и фантастическое, чья поэзия блистает куда ярче в его индивидуальности, чем в его произведениях, он около часу ночи, в ослепительных отблесках пылающих в камине угольев и под тиканье часов, всегда представлялся мне божеством бессилия, — современным божеством-гермафродитом, чье бессилие

так безмерно и колоссально, что достигает эпического размаха!

Каким образом дать вам представление, и представление достаточно ясное, об этой сумрачной натуре, расцвеченной пылкими молниями, ленивой и в то же время предприимчивой, щедрой на отважные замыслы и смехотворные провалы, об этом уме, в котором парадокс часто разрастается до размеров наивности, и чье воображение так же безмерно, как полное одиночество и абсолютная лень? Одним из основных недостатков Самюэля была манера считать себя ровней тем, кого он умел оценить по достоинству; прочитав хорошую книгу, он невольно приходил к выводу: «Это так хорошо, будто написано мной!» — а отсюда до мысли «Значит, это мое» — расстояние всего в одно тире.[2]

В современном мире подобные характеры попадаются чаще, чем можно подумать; улицы, места гуляний, кабачки и все прибежища праздношатающейся публики кишмя кишат существами этой породы. Они так безраздельно отождествляют себя с каждым новым образцом, что вот-вот возомнят себя его создателями. Сегодня они в муках разбирают загадочные страницы Плотина или Порфирия,[3] завтра будут восхищаться тем, как прекрасно Кребийон-сын запечатлел ветреные, французские черты в их характере.[4] Вчера они запросто беседовали с Джероламо Кардано,[5] а нынче уже играют со Стерном[6] или резвятся вместе с Рабле,[7] обжираясь гиперболами. Впрочем, каждая метаморфоза приносит им столько радости, что они нисколько не сердятся на всех этих замечательных гениев за то, что те раньше них успели завоевать уважение потомства. Простодушное и почтенное бесстыдство! Таков был бедняга Самюэль.

Вполне порядочный человек от рождения и отчасти негодяй от нечего делать, наделенный актерским темпераментом, он при закрытых дверях сам для себя разыгрывал несравненные трагедии, или, вернее сказать, трагикомедии. Бывало, заденет его и пощекочет веселость — наш герой тут же заметит себе это и вот уже

старательно смеется взахлеб. Навернется ему на глаза слезинка при каком-нибудь воспоминании — спешит к зеркалу посмотреть, как он плачет. Случится ли какой-нибудь девице в приступе жестокой ребяческой ревности оцарапать его иголкой или перочинным ножичком, Самюэль похваляется сам перед собой ударом кинжала, а задолжай он кому-нибудь несчастных двадцать тысяч франков, и вот уже он радостно восклицает: «Как тяжела и прискорбна судьба гения, обремененного миллионными долгами!»

Не думайте, впрочем, что он был не способен на истинные чувства и что страсть лишь походя задевала его эпидерму. Он бы продал свои сорочки ради человека, с которым, правда, едва знаком, но накануне, всмотревшись в его лоб и руки, признал в нем близкого друга. В движения разума и души он привносил праздную созерцательность германского характера, в игру страстей — стремительную горячность и непостоянство, унаследованные от матери, а в практические вопросы — все недостатки французского тщеславия. Он бы вышел на поединок ради писателя или художника, умершего двести лет назад. Прежде был он страстным богомольцем, затем сделался пылким атеистом. Он одновременно воплощал собой всех художников, которых изучил, и все книги, которые прочел, и все-таки, вопреки своему дару комедианта, хранил глубокую оригинальность. Он всегда оставался нежным, причудливым, ленивым, грозным, ученым, невежественным, неряшливым, кокетливым Самюэлем Крамером и романтической Мануэлой де Монтеверде. Он сходил с ума от друга, как от женщины, а женщину любил, как товарища. Ему была ведома логика всех похвальных чувств и теория всех плутней, и тем не менее он не преуспел ни в чем, ибо слишком верил в невозможное. Чему удивляться? Его только невозможное и заботило.

Как-то ввечеру вздумалось ему выйти на прогулку; на дворе было тепло и благоуханно. От природы имея склонность к излишествам, он одновременно обладал привычками затворника и гуляки, в равной мере и посто-

янными, и необузданными. Материнская лень, креольская приверженность к безделью, была у него в крови и не давала страдать от беспорядка в комнате, от мятого несвежего белья, от засаленных нечесаных волос. Он причесался, умылся, ухитрился за несколько минут отыскать свое платье, а с ним и апломб щеголя, для которого элегантность — обычное дело; затем он отворил окно. Неожиданно в пыльный кабинет хлынули жаркие золотистые лучи. Теплый и напоенный сладкими запахами воздух прочистил ему нос и частью ударил в голову, наполнив ее мечтательностью и желанием, а другой частью разнузданно всколыхнул сердце, желудок и печень. Самюэль решительно задул две свечи, из коих одна еще трепетала над томом Сведенборга,[8] а другая гасла над одной из тех постыдных книжек, чтение которых на пользу лишь умам, одержимым необузданной тягой к истине.

С высоты своего одиночества, захламленного бумагами, вымощенного растрепанными книгами и населенного мечтами, Самюэль частенько замечал, прогуливаясь по аллее Люксембургского сада, фигурку и лицо, которые были ему дороги когда-то в провинции — в том возрасте, коему свойственно любить любовь. В ее чертах, созревших и расплывшихся с годами и с опытом, все же сквозило глубокое и благопристойное обаяние честной женщины; на дне ее глаз временами еще поблескивала влажная девичья мечтательность. Она прогуливалась, как правило, вместе с весьма элегантной бонной, чье лицо и наряд изобличали скорее наперсницу и компаньонку, нежели прислугу. Казалось, она выбирала безлюдные места, где томно присаживалась, повадками напоминая вдову, и подчас рассеянно, не читая, держала в руках книгу.

Самюэль встречал ее когда-то в окрестностях Лиона,[9] молоденькую, резвую, сумасбродную и более стройную. Глядя на нее и, так сказать, признавая, он постепенно воскресил одно за другим все незначительные воспоминания, которые связывало с ней его воображение; он рассказывал сам себе, эпизод за эпизодом, весь тот

юный роман, что после затерялся среди житейских забот, в лабиринте страстей.

В этот вечер он поклонился ей старательней, взглянул пристальней. Проходя мимо нее, он услыхал обрывок разговора:

— Как тебе этот молодой человек, Мариетта?[10] — причем голос дамы звучал так рассеянно, что самый злокозненный наблюдатель не сказал бы о ней ничего дурного.

— Очень славный, мадам. А вы знаете, что это Самюэль Кремер, мадам?

Ответ прозвучал уже суровее:

— А вы-то откуда знаете, Мариетта?

. . . . . .

Вот почему на другой день Самюэль заботливо принес ей найденные на скамье платок и книгу, которые она потеряла, глядя, как ссорятся из-за крошек воробьи, или наблюдая недоступное глазу произрастание трав. Как это часто случается между двумя людьми, в коих сообщничество судеб воспитало души одного диапазона, он, завязав разговор несколько неловко, тем не менее со странным удовольствием обнаружил, что она расположена слушать и отвечать.

— Имею ли я счастье, сударыня, до сих пор занимать уголок вашей памяти? Изменился ли я настолько, что вы не узнаете во мне приятеля детских лет, с которым не гнушались играть в прятки и вместе прогуливать уроки?

— Женщинам не полагается с такой легкостью признавать старых знакомых, — с полуулыбкой ответствовала дама. — Поэтому благодарю вас, сударь, что вы первый представили мне случай обратиться к этим прекрасным и радостным воспоминаниям. Впрочем, каждый год жизни приносит столько событий, столько мыслей... Ведь, сдается мне, и впрямь прошло уже немало лет...

— Да, немало, — подхватил Самюэль, — и для меня эти годы то еле ползли, то летели, но все они меня не щадили!

— А поэзия? — осведомилась дама, улыбаясь глазами.

— С нею все по-прежнему, сударыня! — со смехом отвечал Самюэль. — А что это вы читаете?

— Роман Вальтера Скотта.[11]

— Теперь понимаю, почему вы так часто отвлекаетесь. Какой нудный писатель! Только и знает, что рыться в пыльных хрониках! Нагромождение дотошно описанного старья, куча хлама и всевозможной ветоши: тут вам и доспехи, и посуда, и мебель, и готические постоялые дворы, и мелодраматические замки, по которым прогуливаются несколько заводных манекенов, наряженных в камзолы и пестрые плащи; все это хорошо известно, и лет через десять от этого добра отвернется даже восемнадцатилетний плагиатор; ох уж мне все эти немыслимые владелицы замков и кавалеры, совершенно оторванные от действительности, — ни правды сердца, ни философии чувства! Какое мне дело, носит ли владетельная дама брыжи, или панье, или нижнюю юбку Удино,[12] — лишь бы сама дама рыдала или плела козни, как положено. И неужели во влюбленном кавалере вам интереснее всего то, что вместо визитных карточек он носит в жилетном кармане кинжал, и неужели деспот в черном фраке приводит вас в менее поэтический трепет, чем тиран, облаченный в железо и буйволову кожу?[13]

Нетрудно заметить, что Самюэль принадлежал к категории *пиявок*,[14] — несносных и увлекающихся людей, которые своим профессионализмом губят любой разговор и хватаются за всякий повод, — будь то хоть внезапное знакомство в аллее или на углу улицы, говори они хоть с тряпичником, — чтобы упрямо развивать свои идеи. Между коммивояжерами, бродячими промышленниками, застрельщиками всяческих коммандитных обществ[15] и поэтами-*пиявками* разница только в мотивах проповедничества; порок этих последних совершенно бескорыстен.

Итак, дама безыскусно возразила ему:

— Дорогой господин Самюэль, я — всего лишь читательница, из чего вам легко заключить, что душа моя не

искушена. А потому я радуюсь любой малости. Поговорим лучше о вас; я была бы счастлива, сочти вы меня достойной прочесть какие-нибудь ваши произведения.

— Как, сударыня, неужели вы до сих пор... — пролепетало раздувшееся тщеславие удивленного поэта.

— Хозяин моей читальни говорит, что не знает вас.

И она нежно улыбнулась, словно желая смягчить эффект этой мимолетной колкости.

— Сударыня, — наставительно заметил Самюэль, — истинная читающая публика девятнадцатого века — это женщины; ваше одобрение значит для меня больше, чем отзывы двадцати академиков.

— Что ж, сударь, уповаю на ваше обещание. Мариетта, зонтик и шарф; дома нас, должно быть, *заждались*. Как вам известно, месье возвращается рано.

И она грациозно склонилась в легком поклоне, в коем не было ничего компрометирующего, благо приветливость этого поклона не умаляла достоинства дамы.

Самюэль ничуть не удивился, обнаружив, что его старинная юношеская любовь порабощена брачными узами. Во всемирной истории чувств без этого не обойтись. Ее звали г-жа де Комелли, и жила она в одной из наиболее аристократических улиц Сен-Жерменского предместья.

Когда он повстречал ее на другой день, ее головка с грациозной и едва ли не наигранной меланхолией клонилась к цветам на клумбе; он поднес ей экземпляр «Орланов»,[16] сборника сонетов, какие все мы сочиняли и читали в те годы, когда щеголяли краткостью суждений и длиной волос.

Самюэлю страшно хотелось узнать, насколько «Орланы» пленили душу меланхолической красавицы и удалось ли крикам этих безобразных птиц расположить ее в его пользу; однако спустя несколько дней она сказала ему с обескураживающей прямотой и честностью:

— Сударь, я — всего только женщина, а посему мнение мое не много значит; но сдается мне, что господа сочинители любят и страдают не так, как прочие люди. Вы обращаетесь к дамам с такими элегантными любезно-

стями, выдержанными в таком изощренном духе, что, по моему разумению, этого подчас может оказаться достаточно, чтобы их отпугнуть. Вы воспеваете красоту матерей в таком стиле, который может лишить вас одобрения их дочек. Вы сообщаете миру, что сходите с ума от ручки и ножки госпожи такой-то, которая — предположим, к ее чести, — меньше времени уделяет чтению ваших книг, чем вязанию чулок и митенок на ручки и ножки своим детям. По какому-то странному контрасту, причины которого остаются покамест для меня загадкой, вы приберегаете свой самый мистический фимиам для тех непостижимых созданий, которые читают еще меньше, чем дамы, и платонически млеете перед султаншами злачных мест, которые, как мне кажется, при виде такого утонченного существа, как поэт, должны таращиться с не меньшим изумлением, чем скотина, разбуженная огнем пожара. Вдобавок не понимаю, почему вам столь дороги мрачные темы и анатомические описания. Кто молод, кто, как вы, одарен замечательным талантом, кто обладает всем, что нужно для счастья, тому, на мой взгляд, естественно было бы воспевать здоровье и радости порядочного человека, а не изощряться в проклятиях и не вести бесед с орланами.

Вот что он ей на это ответил:

— Сударыня, пожалейте обо мне, или, вернее, пожалейте обо всех нас, ибо у меня много братьев, похожих на меня; ненависть ко всем людям и к себе самим довела нас до этой лжи. Мы так причудливо разукрасили себе лица гримом только по той причине, что отчаялись достичь красоты и благородства обычными путями. Мы столько мудрили над своим сердцем, так злоупотребляли микроскопом, изучая отвратительные наросты и постыдные бородавки, которыми оно покрыто и которые мы были бы рады раздуть еще больше, что нам уже не дано говорить на том же языке, что прочим людям. Они живут, чтобы жить, а мы, увы, живем, чтобы знать. В этом вся тайна. Годы меняют только голос и уносят только волосы и зубы; мы исказили звучание природы, шаг за шагом истребили врожденную стыдливость, ко-

горой ощетинивалось наше нутро, нутро порядочных людей. Мы ударились в психологию, подобно безумцу, который усугубляет свое безумие, силясь его постичь. Годы несут немощи только нашему телу, а мы изувечили и свои страсти. Горе, трижды горе немощным отцам, что породили нас, хилых, рахитичных, обреченных производить на свет лишь мертворожденное потомство!

— Опять орланы! — возразила она. — Полно, дайте мне руку и давайте полюбуемся этими бедными цветами, которые так счастливы весной!

Вместо того чтобы любоваться цветами, Самюэль Крамер, на которого накатили фразы и периоды, принялся перелагать в прозу и декламировать какие-то скверные стансы, сочиненные им, когда он делал первые шаги в литературе. Дама слушала, не перебивая.

— Как все меняется и как мало остается в человеке от прежних лет, если не считать воспоминаний! Но воспоминания — это новая боль. Прекрасное было время, когда с утренним пробуждением колени наши еще не болели и не затекали, истомленные мечтой, когда ясные наши глаза приветливо взирали на всю природу, когда душа наша не рассуждала, а жила и радовалась; когда вздохи наши были нежны, бесшумны и свободны от гордыни! Сколько раз, давая на досуге волю воображению, вспоминал я один из тех прекрасных осенних вечеров, что благотворны для юных душ, созревающих как-то сразу, рывком, подобно деревьям, которые могут вырасти на несколько локтей, покуда сверкает молния. И вот — я вижу, чувствую, слышу; луна будит огромных бабочек; под теплым ветром раскрываются чашечки ночных красавиц; вода в обширных прудах задремывает. Прислушайтесь мысленно к внезапным вальсам этого таинственного фортепьяно. В окно веют ароматы грозы; сады в этот час полны белых и розовых платьев, что не боятся промокнуть. Кусты дружелюбно цепляются к развевающимся юбкам, черные локоны и белые кудри смешиваются и вьются вихрем! Помнятся ли вам еще, сударыня, огромные стога сена, с которых мы так быстро скатывались, и старуха-кормилица, что так медленно

плелась за вами, и колокольчик, что своим звоном настигал нас так скоро, призывая вас к тетке, в большую столовую?

Г-жа де Комелли перебила Самюэля улыбкой, и, только открыла рот, желая его прервать, как он уже вновь заговорил.

— Ужаснее всего, — сказал он, — что любовь всегда плохо кончается, и чем божественнее, чем воздушнее она поначалу, тем хуже бывает потом. Любой идеал, любую мечту спустя какое-то время непременно встречаешь с хватающимся за ее грудь жадным сосунком; любое убежище, любой очаровательный и никому не ведомый приют сровняют с землей заступ и кирка. Но эти разрушения все-таки вполне материальны; а ведь бывают и другие, еще более безжалостные, более тайные, настигающие то, что недоступно взору. Вообразите, что в тот миг, когда вы приклонились к вашему избраннику и говорите ему: «Улетим вместе и затеряемся в небесном просторе!» — слуха вашего касается суровый неумолимый голос, который твердит, что наши страсти лживы, что прекрасные лица происходят от нашей близорукости, а прекрасные души — от нашего неведения, и что непременно настанет день, когда идол превращается для проницательного взгляда в нечто, достойное не столько ненависти, сколько презрительного недоумения!

— Пощадите, сударь! — взмолилась г-жа де Комелли.

Она явно взволновалась; Самюэль заметил, что разбередил старую рану и безжалостно продолжал.

— Сударыня, — сказал он, — в спасительных муках, которые несет нам память, есть своя прелесть, и в упоении болью порой обретаешь облегчение. В ответ на это зловещее предуведомление все преданные души вскричат: «Господи, унеси меня отсюда вместе с моей мечтой, нетронутой и чистой; хочу вернуть природе мою страсть во всей ее девственности и унести мой венок неувядшим в иные края». К тому же плоды разочарования ужасны. Умирающая любовь порождает болезненных детей, имя им — развращенность ума и бессилие сердца, и по их

вине одни живут лишь из любопытства, а другие что ни день умирают от усталости. Все мы более или менее похожи на путешественника, который странствует по необъятному краю и каждый вечер смотрит на солнце, что когда-то позлащало великолепными лучами придорожные красоты, а теперь закатывается за плоский горизонт. И путник смиренно присаживается на каком-нибудь грязном холмике, покрытом неведомым сором, и говорит запаху вереска, что напрасно он подымается к пустым небесам, а редким и хилым всходам — что напрасно они проклюнулись в иссохшей почве, а птицам, воображающим, будто кто-то благословил их брачные узы, — что напрасно они свили гнезда в стране, продуваемой холодными свирепыми ветрами. И вновь он уныло пускается в путь в сторону пустыни, которая — он это знает — похожа на ту, что он сейчас миновал, и повсюду с ним рядом бледный призрак по имени Разум, который бледным фонарем озаряет каменистую дорогу и, чтобы утолить жажду страсти, оживающую в путнике время от времени, подносит ему ядовитую скуку.

Тут он внезапно услыхал тяжкий вздох и с трудом подавляемое рыдание и обернулся к г-же де Комелли; она плакала навзрыд и была даже не в силах более прятать слезы.

Некоторое время он молча смотрел на нее, напустив на себя самый что ни на есть растроганный и елейный вид; жестокий и лицемерный комедиант гордился этими прекрасными слезами; они ему представлялись его произведением, его литературной собственностью. Он заблуждался относительно тайного смысла этой скорби, а г-жа де Комелли, утопая в искреннем отчаянии, точно так же заблуждалась относительно значения его взгляда. Два заблуждения повели странную игру, и в ее итоге Самюэль Крамер решительно протянул даме обе руки, в которые она нежно и доверчиво вложила свои руки.

— Сударыня, — заговорил Самюэль после непродолжительного молчания, самого что ни есть классического взволнованного молчания, — истинная мудрость велит не столько проклинать, сколько надеяться. Если

бы не божественный дар надежды, как могли бы мы пересечь ту отвратительную пустыню тоски, которую я сейчас вам описал? Призрак, сопровождающий нас, — это в самом деле призрак Разума: его можно прогнать, брызнув на него святой водой первой христианской добродетели. Есть на свете славная философия, умеющая находить утешение в вещах, на первый взгляд совершенно недостойных. И если добродетель ценнее неведения, и если засевать пустыню похвальнее, чем беспечно собирать урожай в плодородном саду, тогда тем более достойно избранной душе будет очищаться самой и очищать ближнего своим прикосновением. Если нет измены, которой нельзя было бы простить, тогда тем более нет вины, которой нельзя было бы себе отпустить, нет промаха, коего нельзя было бы загладить; есть на свете наука любить и ценить своего ближнего, а еще есть искусство жить. Чем тоньше ум, тем больше истинных красот ему открывается; чем нежнее душа, чем доступнее она божественной надежде, тем скорее откроет она в другом человеке, какое бы пятно на нем ни лежало, черты, достойные любви; таковы деяния милосердия, и не одна отчаявшаяся путешественница, заплутавшая в бесплодных пустынях разочарования, сумела вернуть себе утраченную веру и еще крепче привязалась к тому, что утратила, — тем более что овладела наукой управлять своей страстью и страстью любимого человека.

Лицо г-жи де Комелли мало-помалу прояснилось; надежда, словно окутанное влагой солнце, проглянула сквозь ее печаль, и не успел Самюэль договорить, как она поспешно произнесла с простодушным ребяческим пылом:

— Неужели это и впрямь возможно, сударь, и отчаявшемуся человеку так легко ухватиться за спасительный канат?

— Ну конечно, сударыня.

— О, вы сделаете меня счастливейшей из смертных, если соблаговолите поделиться со мной вашими рецептами!

— Нет ничего легче, — отозвался он, не раздумывая.

Пока они так обменивались сентиментальными любезностями, оба прониклись взаимным доверием, руки их встретились, и г-жа де Комелли, после некоторых колебаний и стыдливых ужимок, показавшихся Самюэлю добрым предзнаменованием, также принялась изливать ему душу.

— Я понимаю, сударь, — так она начала, — какие страдания может причинить одиночество поэтической натуре и как быстро истощаются в уединении сердечные чаяния, подобные вашим; но горести ваши, насколько я могла уразуметь из ваших высокопарных речей, проистекают из ваших странных устремлений, кои никогда не достигают цели, да и самая эта цель, как правило, недостижима. Вы в самом деле страдаете, но возможно, что в страдании черпаете вы свое величие, что страдание необходимо вам, как другим — счастье. А снизойдете ли вы до того, чтобы внять и посочувствовать более понятным горестям, провинциальным печалям? От вас, господин Крамер, от вас, умный, ученый человек, ожидаю я совета, а возможно, и дружеской помощи.

Как вы знаете, в те времена, когда мы были знакомы, я была славной молоденькой девушкой, уже несколько мечтательной, как и вы, но робкой и весьма послушной; что в зеркало я гляделась реже вас и часто не решалась съесть или сунуть в карман персик или виноградную кисть, которую вы отважно похищали для меня в соседском саду. Любое удовольствие казалось мне по-настоящему приятным и полным, если оно было разрешено, и мне куда больше нравилось целовать хорошенького мальчика вроде вас на глазах у моей старой тетки, а не где-нибудь на лугу. Кокетство и заботы о собственной внешности, необходимые всякой девице на выданье, пришли ко мне лишь позже. Когда я научилась кое-как петь романсы, аккомпанируя себе на рояле, меня стали одевать более изысканно и приказали держать спину прямо; меня заставили заниматься гимнастикой и запретили мне сажать цветы и возиться с птицами, чтобы не портить руки. Мне позволили читать не только Беркена,[17] но и другие книги, и стали возить в вечернем туале-

те в местный театр на скверные оперы. Когда в замок приехал господин де Комелли, я сразу же прониклась к нему горячей дружбой; сравнивая его цветущую молодость с ворчливой старостью тетки, я находила к тому же, что он — благородный, порядочный человек, а со мной он держался почтительно и галантно. Кроме того, за ним числились самые блистательные заслуги: рука, сломанная во время дуэли, на которую он вышел, заменив собою малодушного друга, доверившего ему честь сестры, огромные суммы, которыми он ссужал старых друзей, не имеющих состояния, да и мало ли что еще. Он вел себя со всеми обходительно, но властно, и совершенно подчинил меня своему влиянию. Как он жил до того, как приехал к нам в замок? Знавал ли иные радости, кроме как ездить со мною на охоту и распевать добродетельные романсы под аккомпанемент моего расстроенного фортепиано? Имел ли любовниц? Я не знала, да и не пыталась узнать. Я влюбилась в него со всею доверчивостью юной девушки, у которой еще нет возможности сравнивать, и вышла за него замуж, чем доставила огромную радость тетке. Став его женой перед Богом и людьми, я влюбилась в него еще больше. Конечно, я слишком его любила. Права ли я была, ошибалась ли, — кто знает? Я была счастлива этой любовью, но не ведала, что ей может грозить беда, и в этом была моя ошибка. Хорошо ли я его узнала до свадьбы? Конечно же, нет; но мне кажется, винить порядочную девушку в том, что она сделала неблагоразумный выбор, — это все равно что винить падшую женщину в том, что ее любовник оказался негодяем. И та и другая, на свою великую беду, одинаково не искушены. Несчастным жертвам, именуемым девицами на выданье, недостает постыдного опыта, — я хочу сказать, недостает знания мужских пороков. Мне хотелось бы, чтобы каждая из этих бедных малюток, прежде чем связать себя брачными узами, могла подслушать в укромном месте, оставаясь невидимой, болтовню двоих мужчин о том, как оно бывает в жизни, в особенности о женщинах. После этого первого, и прискорбного, испытания они бы уже меньше рисковали, подверга-

ясь ужасным случайностям брака, потому что им были бы заранее ведомы слабые и сильные стороны их будущих тиранов.[18]

Самюэль не вполне понимал, куда клонит эта очаровательная жертва; но ему уже казалось, что для разочарованной супруги она что-то слишком много толкует о своем муже.

Несколько минут помолчав, словно не решаясь заговорить о самом мрачном, она продолжала:

— В один прекрасный день господин де Комелли пожелал вернуться в Париж; для пущего блеска мне требовалось надлежащее освещение и достойная оправа. Красивой и благовоспитанной женщине, говорил он, место в Париже. Она должна блистать в обществе, да так, чтобы несколько лучей падали и на мужа. Женщина благородная и благомыслящая знает, что ее слава — это лишь частица славы ее спутника жизни, проливающая свет на его достоинства, а главное, что сама она заслужит уважение лишь в той мере, в какой внушит окружающим уважение к собственному мужу. Разумеется, то было для него самое простое и надежное средство добиться, чтобы я ему подчинилась, да еще и с радостью; коль скоро мои усилия и моя покорность красят меня в его глазах — что ж, ради этого я была готова собраться с духом и ринуться в этот ужасный Париж, внушавший мне инстинктивный ужас, в этот город, черный и сверкающий призрак которого рисовался на горизонте моих грез и тревожил мое бедное девичье сердце. Послушать моего мужа, вся цель нашего путешествия состояла только в этом. Для влюбленной женщины мужское тщеславие — добродетель. Может быть, он сам себя добросовестно обманывал и, не замечая того, хитрил со своей совестью. В Париже мы установили приемные дни для близких друзей, которыми господин де Комелли вскоре наскучил, как наскучил он и своей женой. Возможно, он стал ею несколько тяготиться из-за того, что она слишком его любила, чересчур выставляла напоказ свои чувства. Друзьями он тяготился по противоположной причине. Они могли предложить ему лишь однообразное удо-

вольствие бесед, лишенных какой бы то ни было страсти. Итак, он переменил направление своей деятельности. Друзей сменили лошади и игра. От домашнего очага и неторопливых разговоров его оторвали шум светской жизни и общество тех людей, что не были обременены обязательствами и без конца напоминали ему о безумной и бурной молодости. У него, никогда не имевшего иных дел, кроме сердечных, теперь завелись дела. Богатый и не имеющий никакой профессии, он исхитрился найти себе кучу хлопотливых и легкомысленных занятий, не оставлявших ему ни минуты досуга; мне пришлось схоронить глубоко в груди такие обычные в супружестве вопросы, как «куда ты идешь?», «в котором часу тебя ждать?», «скоро ли будешь дома?», ибо мужа моего целиком поглотила жизнь на английский лад, убийственная для сердца, — жизнь, сосредоточенная в клубах и кружках. Сперва исключительные его заботы о своей особе и подчеркнутый дендизм меня возмущали; ясно было, что все это не ради меня делается. Мне захотелось взять с него пример, стать не просто красавицей, а кокеткой, и кокетничать для него, подобно тому как он это делал для всех на свете; прежде я была готова для него на все, ни в чем ему не отказывала — теперь мне хотелось заставить себя просить. Я мечтала раздуть угасшее пламя моего счастья, вороша пепел и золу; но надо думать, что хитрость мне не дается, да и порок мне не по зубам: муж не заметил моих попыток. Тетка моя, жестокая, как все завистливые старухи, вынужденные лишь любоваться спектаклем, в коем сами были прежде актрисами, и наблюдать за радостями, в коих им уже отказано, приложила немало усилий, чтобы известить меня с помощью одного из родственников господина де Комелли, что он влюбился в некую весьма модную молодую актрису. Я стала ездить на все представления, и стоило вступить на сцену мало-мальски хорошенькой женщине, как я уже трепетала: не это ли моя соперница? Наконец я узнала, все от того же родственника, что предмет моего мужа — Фанфарло, глупенькая и красивая танцовщица. Вы как литератор наверняка ее знаете. Я не

слишком тщеславна и не так уж горжусь своей внешностью, но клянусь вам, господин Крамер, много раз, часа в три, в четыре пополуночи, когда глаза мои становились красны от слез и бессонницы, после долгих и отчаянных молитв о том, чтобы муж мой вернулся на стезю долга и супружеской верности, я вопрошала у Бога, у совести, у зеркала, так ли я хороша собой, как эта презренная Фанфарло. И совесть моя, и зеркало отвечали: да. Бог запретил мне похваляться своей красотой, но не запретил одерживать с ее помощью честные победы. Так почему же мужчины из двух одинаково красивых созданий часто выбирают тот цветок, который нюхали все подряд, а не тот, что всегда берегся от прохожих в самых темных аллеях супружеского сада? И почему у женщин, щедро раздаривающих свое тело — сокровище, ключ от коего должен принадлежать одному-единственному султану, — бывает больше обожателей, чем у нас, несчастных мучениц верной любви? Что это за колдовское очарование, венчающее своим ореолом беспутные головы? И почему в добродетели бывает что-то нелепое и отталкивающее? Объясните же — ведь вы по роду занятий должны знать все чувства человеческие, а также разные их причины!

Самюэль не успел ответить, потому что она пылко заговорила дальше:

— У господина де Комелли тяжкий грех на совести, если Господу не безразлична погибель юной и невинной души, которую он создал для счастья другой души. Умри господин де Комелли нынче вечером, ему тяжко будет вымолить себе прощение; ведь он сам, собственными руками, научил свою жену недобрым чувствам — ненависти, недоверию к любимому существу и жажде мести. Ах, сударь, мои ночи мучительны, моя бессонница исполнена тревоги; я молюсь, проклинаю, богохульствую. Священник говорит, что надобно смиренно нести свой крест, но охваченная безумием любовь и пошатнувшаяся вера не умеют смиряться. Мой духовник — не женщина, а я люблю мужа, я люблю его, сударь, так мучительно, так страстно, как только может любить повер-

женная, попранная возлюбленная. Чего я только не пробовала! Вместо темных, простых платьев, которые когда-то были милы его взору, я наряжалась в безумные, роскошные туалеты, как какая-нибудь актриса. Я, целомудренная супруга, которую он привез из уединенного небогатого замка, щеголяла перед ним нарядами куртизанки; я резвилась и острила, а у самой была смерть в сердце. Я расцветила свое отчаяние сияющими улыбками. Увы, он ничего не видел! Я румянилась, сударь, я румянилась! История банальная, как видите, история всех несчастных женщин, — провинциальный роман![19]

Пока она рыдала, Самюэль чувствовал себя Тартюфом, на которого накидывается Оргон, нежданный супруг, вырвавшийся из своего укрытия,[20] точь-в-точь как добродетельные рыдания вырвались из глубины души этой дамы и схватили за ворот тщедушное лицемерие нашего поэта.

Самозабвенные, свободные речи и доверчивость г-жи де Комелли придали ему неслыханную отвагу, но нисколько не удивили. Самюэль Крамер, нередко удивлявший мир, сам почти никогда не удивлялся. Казалось, в жизни он хочет осуществить и доказать на практике мысль Дидро: «Недоверчивость бывает подчас пороком глупца, а доверчивость — изъяном умного человека. Умный смотрит вдаль и видит огромное множество возможностей. Глупец видит лишь те возможности, которые перед ним. Возможно, именно потому первый бывает малодушен, а второй — отважен».[21] Этим все и объясняется. Какой-нибудь въедливый читатель, обожающий правдоподобные истины, найдет, возможно, к чему придраться в этой истории, в которой я, однако, лишь переменил имена и подчеркнул кое-какие подробности, а более ничего не делал; каким образом, спросят они, Самюэль, поэт, не блещущий ни манерами, ни нравственностью, с такой легкостью разговорился с достойнейшей г-жой де Комелли и обрушил на нее по поводу романа Вальтера Скотта целый поток банальной романтической поэзии? И как это г-жа де Комелли, скромная и добродетельная супруга, отринув стыдливость и опасе-

ния, тут же призналась ему в тайной причине своих печалей? Отвечу на это, что г-жа де Комелли была наивна, как все прекрасные души, а Самюэль — отважен, как мотыльки, майские жуки и поэты; он поспешал на любой огонь и влетал в любое окно. Мысль Дидро поясняет нам, отчего дама вела себя столь безоглядно, а ее собеседник — столь резко и бесцеремонно. Та же мысль объясняет все промахи, которые Самюэль совершил в жизни, — глупец не допустил бы этих промахов. Та часть читающей публики, что главным образом наделена малодушием, едва ли поймет характер Самюэля, наделенного по преимуществу доверчивостью и воображением, причем до такой степени, что как поэт он верил в своих читателей, а как мужчина — вверялся своим страстям.

Самюэль успел уже заметить, что эта женщина сильнее и неукротимее, чем кажется, и что не следует грубо оскорблять ее простодушную скорбь. Он вновь развернул перед ней свой романтический жаргон. Стыдясь показаться дураком, он решил прикинуться волокитой и еще некоторое время поговорил с ней языком семинариста о том, что раны, дескать, можно заживить или прижечь путем безболезненного обильного кровопускания. Всем, кто, не обладая властью отпущения грехов, какою были наделены Вальмон или Ловлас,[22] пытался покорить порядочную женщину, которая ни о чем таком не подозревает, известно, с какой смехотворной и напыщенной неловкостью всегда произносишь в таких обстоятельствах, указывая на свое сердце: «Приручите этого медведя!», — посему не стану расписывать вам, каким дураком выглядел Самюэль. Мадам де Комелли, наша очаровательная Эльмира,[23] с ее ясными и благоразумными воззрениями на добродетель, быстро догадалась, что обращение этого злодея на путь истинный может способствовать его счастью, а заодно и послужить к чести ее супруга. Итак, она отплатила Самюэлю его же монетой, не отняла рук, которые он сжимал, и оба заговорили о дружбе и платоническом чувстве. Она шепнула, что хочет отомстить; она призналась, что когда в жизни женщины происходит мучительный кризис, она рада пода-

рить мстителю те остатки сердечного жара, которые не пожелал присвоить коварный негодяй, а также наговорила немало других глупых и драматических фраз. Короче, она с наилучшими намерениями пустилась в кокетство, и наш юный волокита, который был скорее дурак, чем мудрец, пообещал, что вырвет Фанфарло из рук месье де Комелли и избавит его от куртизанки — в надежде обрести награду за это похвальное деяние в объятиях порядочной женщины. Лишь поэты бывают настолько простодушны, чтобы додуматься до подобного безобразия.

В этой истории была одна забавная подробность, послужившая чем-то вроде интермедии в мучительной драме, которой предстояло разыграться между нашими четырьмя персонажами, а именно — путаница с сонетами Самюэля; в отношении сонетов он был неисправим: в одном, посвященном мадам де Комелли, он воспевал в мистическом стиле ее красоту, достойную Беатриче,[24] ее голос, ангельскую красоту ее глаз, невинный облик и т. д., в другом же, предназначавшемся для Фанфарло, он предлагал этой даме пикантное блюдо из таких пряных любезностей, что у самого искушенного едока от него должно было гореть во рту; впрочем, в этом роде поэзии он не знал себе равных и давно уже превзошел все мыслимые андалусизмы. И вот первое блюдо угодило к девке, которая швырнула это постное кушанье в коробку с сигарами, а второе — к бедной покинутой супруге, которая поначалу изумилась, потом смекнула, в чем тут дело, и, несмотря на свое горе, разразилась неудержимым смехом, как в лучшие времена.

Самюэль пошел в театр и принялся изучать Фанфарло на подмостках.[25] Он признал, что она воздушна, великолепна, подвижна, наряжается с большим вкусом, и решил, что месье де Комелли — счастливчик, коль скоро он может разориться ради такого лакомого куска.

Дважды он наведался к ней — в домик, где лестница была устлана бархатом, домик, полный портьер и ковров, расположенный в новом квартале, полном зелени; однако у Самюэля не было никакого разумного повода

туда проникнуть. Признание в любви было бы глубоко бесполезной и даже опасной затеей. Потерпи он неудачу — и больше ему уже к ней не попасть. Хорошо бы оказаться ей представленным — но он узнал, что Фанфарло никого не принимает. Время от времени ее навещали только самые близкие друзья. Да и что бы он сказал танцовщице, живущей на самом щедром содержании у любовника, который ее обожает? Что бы он мог ей предложить? Ведь он не портной, не швея, не учитель танцев, не миллионер... Итак, он принял простое и жестокое решение: добиться, чтобы Фанфарло сама к нему пришла. В те времена хвалебные и критические статьи значили куда больше, чем в наши дни. *Возможности* фельетона — как выразился недавно один почтенный адвокат в ходе печально известного судебного разбирательства[26] — были куда обширнее, чем сегодня; перед журналистами успело уже капитулировать несколько талантов, и теперь дерзость этой ветреной и удалой молодежи не знала границ. И вот Самюэль, не имевший ни малейшего понятия о музыке, взялся писать о лирическом театре.

С этих пор на Фанфарло еженедельно обрушивалась брань из подвала одной влиятельной газеты. Невозможно было ни объявить, ни даже заикнуться о том, что форма ее ноги, лодыжки, колена оставляет желать лучшего: ее мускулы так и играли под чулком, и все лорнеты прокляли бы дерзкого критикана. И вот на нее посыпались обвинения в грубости, пошлости, безвкусице, в том, что она хочет привить театру привычки, заимствованные по ту сторону Рейна и по ту сторону Пиренеев, насадить кастаньеты, шпоры, сапожки на каблуках — не говоря уж о том, что она пьет, как гренадер, слишком любит собачек и дочку своей привратницы,[27] и о прочем грязном белье из ее частной жизни, — есть газетенки, которые что ни день ловят публику на эту наживку и потчуют ее этим лакомством. Согласно принятой у журналистов тактике, состоящей в том, чтобы сравнивать несопоставимые вещи, ей противопоставляли эфирную танцовщицу, всегда одетую в белое, чьи целомудренные телодви-

жения никого не воспламеняли. Фанфарло порой позволяла себе громко расхохотаться, глядя в партер, или что-нибудь крикнуть, приземляясь после прыжка у самой рампы; иногда во время танца она просто ходила по сцене. Она никогда не носила этих невыразительных платьев, сквозь которые все видно, но ничего не угадывается. Она любила шуршащие ткани, длинные юбки, хрустящие, покрытые блестками и побрякушками, высоко взлетающие над проворным коленом, и корсажи, какие носят бродячие акробатки; когда она плясала, в ушах у нее красовались не серьги, а целые подвески — я бы даже сказал, люстры. Она бы с удовольствием увешала подол своей юбки множеством забавных куколок, как старые цыганки, что с грозным видом предсказывают вам судьбу и бродят в самый полдень под сводами римских развалин, — словом, готова была на все чудачества, от которых был без ума и сам романтический Самюэль — один из последних романтиков, коими располагает Франция.

И вот спустя три месяца, в течение коих Самюэль поносил Фанфарло, он оказался в нее безумно влюблен, а она пожелала наконец узнать, кто это чудовище, это каменное сердце, этот педант, этот безумец, что с таким упрямством ниспровергает могущество ее таланта.

Отдадим Фанфарло справедливость, с ее стороны это было не более чем любопытство. Неужто он такой, как все? Неужто устроен так же, как прочие люди? Она навела справки о Самюэле Крамере, узнала, что это самый обычный человек, неглупый, небесталанный, и смутно заподозрила, что здесь таится какая-то загадка и что беспощадная статья, напечатанная в понедельник, представляет собой, возможно, нечто вроде особого букета, преподносимого каждую неделю, или визитной карточки настойчивого просителя.

Как-то вечером он явился к ней в уборную. Два огромных канделябра и яркое пламя в камине бросали дрожащие отсветы на пестрые костюмы, которыми был полон этот будуар.

Перед отъездом из театра царица здешних мест переодевалась в наряд простой смертной и, согнувшись в три погибели на стуле, бесстыдно обувала свою прелестную ножку; ее пухлые, округлые руки, не заботясь о том, что не худо бы одернуть юбку, продевали в дырочки ботинка шнурок, сновавший, как проворный челнок. А ножка уже превратилась для Самюэля в предмет бесконечного вожделения. Длинная, стройная, сильная, полная и в то же время нервная, она была безукоризненно прекрасна и вместе с тем маняще, беспутно мила. Пересеченная перпендикуляром в самом полном месте, эта ножка напоминала треугольник, вершина которого упиралась в большую берцовую кость, а округленная линия икры представляла собой выпуклое его основание. Классическая мужская нога окажется слишком твердой, а женская, как ее рисует Деверия,[28] — чересчур мягкой, чтобы дать представление о вышеупомянутой ножке.

Сидя в этой приятной позе, склонив голову над ботинком, танцовщица демонстрировала шею проконсула, широкую и крепкую, ниже которой угадывалась ложбинка между лопатками, облеченными смуглой обильной плотью. Тяжелые густые волосы двумя волнами падали ей на лицо, щекоча грудь и мешая смотреть, так что их то и дело приходилось рывком откидывать назад. И ее саму, и ее наряд непрестанно колыхало своенравное и очаровательное нетерпение балованного ребенка, которому кажется, что дело делается чересчур медленно, и в ее нетерпении открывались все новые ракурсы, новые линии и краски.

Самюэль остановился с почтением, истинным или мнимым, ибо всегда было необыкновенно трудно понять, где в этом чудовищном человеке начинается комедиант.

— А, вот и вы, сударь! — произнесла она бесцеремонно, хотя за несколько минут до того ее предупредили о визите Самюэля. — Вы чего-то от меня хотите, не так ли?

Величайшее бесстыдство этих слов уязвило беднягу Самюэля в самое сердце; целую неделю он болтал, как

романтическая сорока, с г-жой де Комелли, но сейчас он просто ответил: «Да, сударыня», и на глазах у него выступили слезы.

Это возымело огромный успех: Фанфарло улыбнулась.

— Но какое насекомое вас укусило, сударь? Почему вы так на меня взъелись? Что за мерзкое у вас ремесло...

— В самом деле мерзкое, сударыня... Дело в том, что я вас обожаю.

— Так я и думала, — отозвалась Фанфарло. — Но вы чудовище, ваша тактика отвратительна. Бедные мы девушки! — продолжала она со смехом. — Флора, мой браслет! Проводите меня до кареты и скажите, понравилась ли я вам нынче вечером?

И они пошли под руку, как старые друзья; Самюэль был влюблен — или, во всяком случае, слышал, как учащенно бьется его сердце. Как это ни странно, на сей раз он уж точно не был смешон.

Он до того радовался, что чуть не забыл предупредить г-жу де Комелли о своем успехе и осветить ее безлюдный дом лучом надежды.

Спустя несколько дней Фанфарло исполняла роль Коломбины в пышной пантомиме, которую сочинили для нее ее умные друзья. Благодаря благоприятной череде метаморфоз она являлась в образе Коломбины, Маргариты, Эльвиры и Зефирины[29] и как нельзя веселей принимала поцелуи от нескольких поколений персонажей, заимствованных из разных стран и разных литератур. Великий композитор не счел ниже своего достоинства сочинить фантастическую музыку, гармонировавшую с причудливым сюжетом. Фанфарло представала то благопристойной, то феерической, то сумасбродной, то игривой; она достигала высот искусства, актерствовала ногами и танцевала глазами.

Заметим мимоходом, что искусство танца у нас чересчур презирают. Все великие народы, прежде всего народы античного мира, Индии, Аравии, почитали его наравне с поэзией. Танец настолько же выше музыки, во всяком случае для многих языческих обрядов, насколько

видимое и оформленное выше невидимого и аморфного. Меня поймут только те, кто улавливает в музыке сходство с живописью. Танец выявляет все таинственное, что заложено в музыке, а кроме того, он хорош тем, что человечен и осязаем. Танец — это поэзия, у которой есть руки и ноги, это изысканная и грозная поэзия, одушевленная и приукрашенная движением. Терпсихора — полуденная муза; полагаю, что она была очень смугла и ноги ее часто носились по золотым нивам; ее движения, исполненные точного ритма, дают божественный материал ваятелю. Но католичка Фанфарло, не довольствуясь соперничеством с Терпсихорой, призвала на помощь также искусство более современных богов и богинь. Туман размывает очертания фей и ундин, они теряют свою расплывчатость и беспечность. Фанфарло являла собой каприз Шекспира и вместе с тем итальянскую буффонаду.

Поэт был восхищен; ему казалось, что он видит воочию свою давнюю мечту. Он готов был заскакать по своей ложе самым смехотворным образом и в накатившем на него безумном упоении разбить себе голову о первую попавшуюся стенку.

Низкая и плотно закрытая коляска быстро укатила поэта и танцовщицу в сторону домика, о котором я уже упоминал.

Наш герой выражал свое восхищение посредством безмолвных поцелуев, коими пылко осыпал руки и ноги красавицы. Она и сама была от него в изрядном восторге: разумеется, она знала силу своих чар, но никогда прежде не встречала она такого причудливого человека и такой электрической страсти.

Ночь была черна, как могила, и ветер сотрясал громоздящиеся в небе тучи, извлекая из них потоки града и дождя. Под порывами бури дрожали мансарды и стонали колокольни; сточная канава — зловещее ложе, в котором исчезают любовные записки и вчерашние излишества, — бурля, уносила прочь в своих потоках тысячи тайн; смерть бесшабашно обрушивалась на больницы, у Чаттертонов и Сэведжей с улицы Сен-Жак[30] сводило за-

мерзшие пальцы над чернильницами, — а тем временем самый лживый, эгоистический, чувственный, охочий до лакомств и остроумный из наших друзей очутился за прекрасным столом, на котором был накрыт изысканный ужин, в обществе одной из самых красивых женщин, порожденных природой для утехи нашего зрения. Самюэлю захотелось отворить окно, чтобы окинуть проклятый город взглядом победителя, но затем он перевел взгляд на всевозможные красоты, окружавшие его, и поспешил ими насладиться.

Тут уж он не мог не блеснуть красноречием; и, даром что лоб у него был слишком высокий, волосы напоминали девственный лес, а нос изобличал пристрастие к табаку, Фанфарло сочла его почти красавцем.

У Самюэля и Фанфарло полностью совпадали воззрения на кухню и систему питания, приличествующую избранным личностям. К ужину этой сирены не допускались простецкое мясо и безвкусная рыба. Ее стол редко бесчестило шампанское. Самые знаменитые, самые ароматные сорта бордо отступали под натиском мощного и сплоченного батальона бургундского, овернского, анжуйского, вин Юга, а также иностранных — немецких, греческих, испанских. Самюэль говаривал, что бокал доброго вина должен походить на кисть черного винограда, что ему надлежит быть не только питьем, но и едой. Фанфарло любила мясо с кровью и вина, которые кружат голову. Впрочем, она никогда не пьянела. Оба исповедовали истинное и глубокое почтение к трюфелям.[31] О трюфель, тайное и загадочное растение, любимое Кибелой,[32] сладчайшая хворь, которую она прячет в своей утробе дольше, чем самые редкостные металлы, восхитительное вещество, бросающее вызов страстному почитателю агрономии, подобно тому как золото бросает вызов Парацельсу;[33] о трюфель, в тебе запечатлена разница между миром древним и современным,* и перед бокалом хиосского ты действуешь, как несколько нулей после цифры.

* У древних римлян трюфели были белого цвета и другого сорта. — *Примеч. автора.*

Что касается вопроса соусов, пряностей и приправ, — серьезного вопроса, требующего отдельной главы, серьезной, как научные статьи в газетах, — могу заверить вас, что и в этом они совершенно сошлись, особенно насчет того, что на помощь кухне следует призвать всю аптеку, предлагаемую природой. Стручковый перец, жгучие и взрывчатые смеси, шафран, вещества, привозимые из колоний, экзотические порошки — все это было им по вкусу, а кроме того, и мускус, и ладан. Если бы Клеопатра жила в наши дни, не сомневаюсь, что ей бы захотелось отведать сочетание говяжьей вырезки или филе козленка с арабскими духами. Жаль, что ни говори, что особый закон о роскоши не обязывает современных дипломированных кухарок изучать химические свойства различных веществ, чтобы в случае необходимости — например, на праздник любви — изобретать кулинарные зажигательные смеси, способные мигом воздействовать на весь организм наподобие синильной кислоты и улетучиваться, как эфир.

Примечательно, что это совпадение во взглядах на удовольствия, это единство вкусов мгновенно их сблизило; глубокое понимание чувственной жизни, сквозившее в каждом взгляде и в каждом слове Самюэля, изрядно поразило Фанфарло. Его слова, то резкие, как язык цифр, то утонченные и благоуханные, как цветок или мешочек с ароматическими травами, эта причудливая болтовня, секрет которой был ведом ему одному, окончательно завоевали ему благосклонность очаровательной женщины. Впрочем, он и сам почувствовал живейшее и глубочайшее удовольствие, когда, осмотрев спальню, убедился в безусловном совпадении их вкусов и пристрастий в отношении мебели и комнатного убранства. Крамер от всей души ненавидел — и, по-моему, был в этом совершенно прав, — когда в домашней обстановке задают тон прямые линии и когда домашний очаг подчиняется правилам архитектуры. Я сам боюсь огромных залов в старинных замках, и мне жаль их хозяев, которым приходилось предаваться любовным утехам в обширных опочивальнях, напоминающих кладбища, в

просторных катафалках, которые назывались у них кроватями, и на внушительных надгробиях, более известных под псевдонимами кресел. Квартирки в Помпеях невелики; то же самое на Малабарском берегу.[34] Тамошние великие народы, мудрые и сладострастные, понимали толк во всем этом. Тайным сердечным чувствам бывает привольно лишь в тесном пространстве.

Итак, спальня у Фанфарло была крошечная, с низким потолком, заставленная мягкими, благоухающими и хрупкими вещами; воздух, пропитанный диковинными миазмами, навевал желание умереть в нем медленно, как в душной оранжерейной теплице. Свет лампы пробивался сквозь заросли кружев и тканей ярчайших, но сомнительных тонов. Там и тут он высвечивал по стенам картины, исполненные испанского сладострастия: очень белые тела на очень темном фоне. И вот Самюэль увидал, как из глубины этого восхитительного логова, напоминавшего одновременно притон и святилище, во всем роскошном и священном блеске наготы выходит ему навстречу новая богиня его сердца.

Какой мужчина не мечтал отдать полжизни за то, чтобы перед ним предстала без покровов мечта, заветная мечта его жизни, чтобы взлелеянный его воображением призрак сбросил перед ним одну за другой все одежды, скрывающие его от взглядов черни? Но Самюэль, на которого накатил непонятный каприз, завопил, как балованное дитя: «Коломбину! Хочу Коломбину! Верни мне ее такой, какая предстала мне нынче вечером и свела меня с ума своим фантастическим нарядом и пестрым корсажем!»

Фанфарло поначалу удивилась, но, желая угодить эксцентричному своему избраннику, позвонила Флоре; и напрасно та напоминала, что уже три часа ночи, что в театре все закрыто, привратник спит, погода ужасная — буря все еще бушевала, — ей пришлось покориться той, которая сама покорялась чужой воле; и вот горничная вышла, а Крамер, которого осенила еще одна мысль, вцепился в сонетку и зычно закричал: «Эй! Не забудьте румян!»

Эта характерная подробность, о которой рассказала как-то вечером сама Фанфарло в ответ на расспросы друзей о том, как началась ее связь с Самюэлем, ничуть меня не удивила; я узнал автора «Орланов». Он всегда будет любить румяна и белила, поддельное золото и всякую мишуру.[35] Он рад был бы перекрасить деревья и небо, и если бы Господь доверил ему план мироздания, он бы, наверно, все напортил.

Хотя Самюэль обладал разнузданным воображением, а может быть, именно поэтому, любовь у него шла не столько от чувства, сколько от ума. В любви выражалось для него восхищение красотой и голод по красоте; деторождение почитал он пороком любви, беременность — не то болезнью, не то ловушкой. Где-то он написал: ангелы — гермафродиты, они бесплодны. Человеческое тело он любил как гармоничную материю, как прекрасную архитектуру в сочетании с движением; и этот его безраздельный материализм был недалек от чистой воды идеализма. Но поскольку в прекрасном, которое лежит в основе любви, было, по его мнению, два элемента — линия и очарование, постольку очарование для него, по крайней мере в этот вечер, воплощалось в румянах.

Итак, Фанфарло олицетворяла для него линию и очарование, и когда, бережно обнимая ее, беззаботно и с победоносным спокойствием любимой женщины присевшую на край постели, он на нее смотрел, то в глазах ее, казалось, он прозревал всю бездонность этой красоты, а его собственным глазам вдруг открывались новые обширные горизонты. Впрочем, как это часто бывает с необыкновенными людьми, он часто оказывался один в своем раю, где никто не мог с ним ужиться; и если, по случаю, ему удавалось схватить любимую и чуть не насильно заманить туда — она всегда оставалась позади; и на небесах, где он царил, его любовь, как царственный одинокий бриллиант, начинала грустить от всей этой синевы и страдать меланхолией.

Правда, она никогда ему не надоедала; покидая их укромный приют и проворно меряя шагами тротуар по утреннему холодку, он никогда не испытывал того эго-

истического удовольствия от сигары и рук, засунутых в карманы, о котором обмолвился как-то наш великий современный романист.*[36]

Не имея сердца, Самюэль обладал зато благородным рассудком, и наслаждение порождало в нем вместо неблагодарности то сладострастное блаженство, ту чувственную истому, которая, быть может, превыше любви как ее понимает чернь. Впрочем, Фанфарло и сама старалась изо всех сил и не скупилась на самые искусные ласки, понимая, что друг ее того стоит: она привыкла к его мистическому языку, расцвеченному чудовищными непристойностями и грубостями. В этом для нее, по крайней мере, таилась новизна.

Сумасбродство танцовщицы наделало много шуму. Были отмены спектаклей, несколько раз она пренебрегла репетициями; Самюэлю многие завидовали.

Однажды вечером, когда случай, скука г-на де Комелли или ухищрения его жены свели обоих у камина, — после одной из тех затянувшихся пауз, которые наступают между супругами, которым больше нечего сказать друг другу, но многое нужно друг от друга скрывать, — г-жа де Комелли, заварив мужу лучший на свете чай в скромном надтреснутом чайнике, быть может, привезенном еще из теткиного замка, спев под аккомпанемент рояля несколько вещиц, которые были в моде лет десять назад, сказала ему нежным и благоразумным голоском добродетели, которая старается угодить и боится вспугнуть предмет своей приязни, что ей было его очень жаль, что она много плакала, не столько о себе, сколько о нем; что в своем смирении, исполненном покорности и преданности, она хотела бы, по крайней мере, чтобы в другом месте он обрел любовь, которой не желал больше принимать от своей жены; что она страдала не столько от того, что чувствовала себя покинутой, сколько от того, что видела его обманутым; что, впрочем, тут во многом и ее вина: она-де позабыла о своем долге нежной супруги и не уведомила его об опасности;

---

* Автор «Девушки с золотыми глазами». — *Примеч. автора.*

но она, мол, готова уврачевать кровоточащую рану и сама исправить последствия промаха, совершенного ими обоими, и т. д. — словом, все то, что только может подсказать хитрость, вдохновляемая нежностью. Она плакала — и плакала превосходно; ее слезы озаряло пламя любви, а лицо ее похорошело от горя.

Г-н де Комелли не сказал ни слова и вышел. Люди, угодившие в западню собственных ошибок, не любят чистосердечно признаваться в том, что раскаиваются. Если он пошел к Фанфарло, то застал там, вне всякого сомнения, кавардак, окурки сигар и газетные статьи.

Как-то утром Самюэль проснулся от капризного голоска Фанфарло и, медленно оторвав свою утомленную голову от подушки, прочел письмо, которое ему протянула подруга: «Благодарю вас, сударь, тысячу раз благодарю; счастье мое и признательность зачтутся вам в лучшем мире. Принимаю ваш дар. Забираю из ваших рук супруга и нынче же увожу его в наше имение в С***, где вновь обрету здоровье и жизнь, коими обязана вам. Примите, сударь, заверения в неизменной моей дружбе. Я всегда была настолько уверена в вашей порядочности, что вы, конечно, предпочтете дружбу любой другой награде».

Самюэль, который развалился среди кружев, прислонясь к самым свежим и прекрасным плечам на свете, смутно почувствовал, что его провели, и не без труда восстановил в памяти элементы интриги, приведенной им к развязке; однако он тут же безмятежно спросил себя: а всегда ли наши страсти искренни? Кто из нас точно знает, чего он хочет и что показывает барометр его сердца?

— Что ты там бормочешь? Что там у тебя? Покажи! — обратилась к нему Фанфарло.

— Да так, ничего, — вздохнул Самюэль. — Письмо от порядочной женщины, которой я пообещал, что ты в меня влюбишься.

— Ты мне за это заплатишь, — сквозь зубы прошипела она.

Фанфарло, вероятно, любила Самюэля, но такой любовью, какая дана немногим душам: к ее любви приме-

шивалось изрядное количество злобы. Что до Самюэля, он обрел наказание в том самом, в чем состоял его грех. Много раз он испытывал притворную страсть — теперь пришлось ему испытать настоящую; но это оказалось не то чувство, спокойное, тихое и сильное, которое умеют внушить порядочные девушки: он изведал ужасную любовь, безнадежную и постыдную, мучительную любовь к куртизанке. Самюэль узнал все терзания ревности и все то унижение и печаль, в которые нас повергает сознание непоправимого зла, предопределенного самой природой, — короче, все кошмары того порочного союза, что именуется сожительством. А Фанфарло все толстеет; она превратилась в пухлую, опрятную, лоснящуюся и хитрую красавицу, что-то вроде официальной лоретки. На днях она будет праздновать Пасху и пошлет в приходскую церковь святить хлеб. К тому времени, возможно, пытка уже пресечет дни Самюэля и он *будет лежать под плитой*, как сам он говаривал в лучшие дни, а Фанфарло, с ее ужимками канониссы, вскружит голову какому-нибудь юному наследнику. Покамест она учится рожать детей и только что благополучно разрешилась от бремени двумя близнецами. Самюэль произвел на свет четыре ученые книги: одну о четырех евангелистах, другую о символике цвета, кроме того, исследование новой системы объявлений, а название четвертой я и вспоминать не хочу.[37] Что чудовищнее всего, в этой последней книжонке, написанной энергично и с блеском, масса любопытного. У Самюэля хватило наглости предпослать ей эпиграф: «*Auri sacra fames!*»*[38] Фанфарло хочет, чтобы ее любовник стал членом Академии, и интригует в министерстве, чтобы ему дали крест.

Бедный певец «Орланов»! Бедняжка Мануэла де Монтеверде! Как низко он пал! Недавно мне сказали, что он основал социалистическую газету и собирается пуститься в политику.[39] Бесчестный ум! — как говорит наш честный г-н Низар.[40]

---

* «Мерзкая страсть к золоту!» (*лат.*).

ДНЕВНИКИ

ФЕЙЕРВЕРКИ

I

Фейерверки

Даже если бы Бога не существовало, все равно религия была бы Святой и *Божественной.*

Бог — единственное существо, которому, чтобы всевластвовать, даже нет надобности существовать.

Созданное духом живее, чем материя.

Любовь — это вкус к проституции. Вообще нет такого возвышенного удовольствия, которое нельзя было бы возвести к проституции.

На театральном представлении, на балу каждый услаждает себя всеми.

Что есть искусство? Проституция.

Удовольствие быть в толпе — это таинственное выражение радости, возникающей от умножения числа.

Всё — это число. Число заложено во всем. Число заложено в индивидууме. Опьянение — это число.[1]

У зрелого человека на смену тяге к рассеянию должна прийти тяга к плодотворной сосредоточенности.

Любовь может проистекать от такого великодушного чувства, как склонность к проституции, но собственническая страсть вскоре портит ее.

Любовь хочет выйти за пределы самое себя, слиться со своей жертвой, как победитель с побежденным, но все-таки сохранить преимущества завоевателя.

Содержатель предается наслаждениям, которые сродни и ангелу-хранителю, и собственнику. Милосердие и жестокость. И то и другое равно не зависят от пола, красоты и животного начала.

Зеленые сумерки летних сырых вечеров.

Огромная глубина мысли в простонародных речениях — норы, прорытые поколениями муравьев.

Охотничьи рассказы незримыми нитями связаны и с жестокостью, и с любовью.

II

Фейерверки

О женственности церкви как истоке ее всемогущества.

О фиолетовом цвете (затаенная, скрытная, сокровенная любовь, цвет канониссы).[2]

Священник велик, ибо заставляет поверить во множество удивительных вещей.

Церковь хочет быть всемогущей и вездесущей, потому что таков закон разума человеческого.

Народы обожают власть.

Священники — слуги и фанатики воображения.

Трон и алтарь: революционная максима.

Э. Г.,[3] или ОБОЛЬСТИТЕЛЬНАЯ АВАНТЮРИСТКА.

Религиозное упоение больших городов. Пантеизм. Я есмь все. Все суть я. Вихрь.

III

Фейерверки

Кажется, я уже писал в своих заметках, что любовь очень похожа на пытку или хирургическую операцию. Но эту мысль можно развить в самом безрадостном духе. Даже если оба возлюбленных как нельзя более

полны страсти и взаимного желания, все равно один из двоих окажется равнодушнее и холоднее другого. Он, или она, — хирург, или палач, а другой — пациент, или жертва. Слышите вздохи, прелюдию к трагедии бесчестья, эти стоны, эти крики, эти хрипы? Кто не издавал их, кто не исторгал их из себя с неудержимой силой? И чем, по-вашему, лучше пытки, чинимые усердными палачами? Эти закатившиеся сомнамбулические глаза, эти мышцы рук и ног, вздувающиеся и каменеющие, словно под воздействием гальванической батареи, — ни опьянение, ни бред, ни опиум в их самых неистовых проявлениях не представят вам столь ужасного, столь поразительного зрелища. А лицо человеческое, созданное, как верил Овидий, чтобы отражать звезды,[4] — это лицо не выражает более ничего, кроме безумной свирепости, или расслабляется, как посмертная маска. Ибо я счел бы себя святотатцем, применив слово «экстаз» к этому процессу распада.

— Чудовищная игра, которая неизбежно принуждает одного из игроков терять власть над собой!

Однажды при мне рассуждали, в чем состоит наибольшее любовное наслаждение. Кто-то, естественно, сказал: в том, чтобы получать, а другой — в том, чтобы отдавать себя. Тот заявил: — утеха гордыни! — а этот: — сладость самоуничижения. Все эти похабники рассуждали, словно «*Подражание И⟨исусу⟩ Х⟨ристу⟩*».[5] Нашелся даже бесстыжий утопист, уверявший, будто наибольшая утеха любви состоит в том, чтобы производить граждан для родины.

А я сказал: единственное, и высшее, сластолюбие в любви — твердо знать, что творишь зло.[6] И мужчины и женщины от рождения знают, что сладострастие всегда коренится в области зла.

IV

Планы Фейерверки Наброски

— Комедия в духе Сильвестра.[7] Барбара[8] и барашек.

— Шенавар[9] создал некий тип сверхчеловека.

— Мое пожелание Левайяну.[10]

— Предисловие, смесь мистики с игривостью. Сны и теоретическое их обоснование в духе Сведенборга.

Мысль Кемпбелла (the Conduct of Life*).[11]

Сосредоточенность.

Могущество навязчивой идеи.[12]

— Полнейшая искренность, способ быть оригинальным.

— Высокопарно рассказывать о смешном.

Фейерверки догадки

Когда человек сляжет в постель, почти всем его друзьям втайне хочется, чтобы он умер;[13] одни этого хотят из стремления доказать, что здоровьем они куда крепче, нежели он, другие — в бескорыстной надежде изучить весь ход агонии.

Арабески — самые спиритуалистические из рисунков.[14]

V

Фейерверки догадки

Писатель колеблет ценности и придает вкус интеллектуальной гимнастике.

Арабески — самые идеальные из рисунков.

Мы тем сильнее любим женщину, чем более она нам чужда.[15] Любить высокоумных женщин — утеха педераста. Между тем скотство исключает педерастию.

---

* Жизненное направление (*англ.*).

Шутовской склад ума не исключает милосердия, но такое сочетание встречается редко.[16]

Энтузиазм, вызванный чем-либо кроме абстракций, есть признак слабости и хвори.

Худоба более гола, более непристойна, чем дородность.[17]

VI

— *Трагическое небо.*[18] Эпитет абстрактного порядка, приложенный к материальному веществу.

— Вместе с атмосферой человек впивает свет. Поэтому в народе верно говорят, что ночной воздух вреден для работы.

— Народ — прирожденный огнепоклонник.

Фейерверки, пожары, поджигатели.

Если придумать некоего прирожденного огнепоклонника, к тому же прирожденного парса,[19] можно сотворить нечто новое.

Ошибки, связанные с неузнаванием знакомых лиц, возникают из-за помрачения реального облика некой галлюцинацией, рожденной в этот самый миг.

Узнай же радости суровой жизни; и молись, молись без конца. Молитва — вместилище силы. (*Алтарь воли. Нравственная динамика. Чародейство таинств. Гигиена души.*[20])

Музыка углубляет небо.[21]

Жан-Жак говорил, что даже в кафе входит с некоторым волнением. Для робких душ театральный билетер слегка похож на судилище в преисподней.[22]

В жизни есть только одно истинное очарование; это очарование Игры.[23] Но что если нам безразлично, выиграть или проиграть?

VII

Догадки Фейерверки

Нации производят на свет великих людей, но только против собственной воли — точь-в-точь как семьи. Они прилагают все усилия к тому, чтобы таких людей не было. Посему великому человеку, чтобы существовать, требуется обладать большей наступательной силой, чем сила сопротивления, оказываемая миллионами двуногих.[24]

По поводу сна, зловещего ежевечернего приключения,[25] можно сказать, что люди изо дня в день засыпают с отвагой, которая казалась бы неизъяснимой, не знай мы, что она проистекает из неведения опасности.

У иных кожа покрыта панцирем, и наказать их презрением невозможно.[26]

Много друзей, много перчаток. Те, кто меня любил, были все люди презираемые, я бы даже сказал — презренные, если бы мне хотелось польстить порядочной публике.[27]

Жирарден[28] заговорил на латыни! *Pecudesque Locutae.**

Обществу неверующих было естественно послать Робера Удена к арабам, чтобы посеять в них неверие в чудеса.[29]

VIII

Эти большие и прекрасные корабли, чуть заметно покачивающиеся (переваливающиеся с боку на бок) на водной глади, эти могучие корабли всем своим видом говорят, что им здесь нечего делать, что они тоскуют и словно спрашивают нас на языке немых: когда же мы пустимся в путь навстречу счастью?[30]

В драме не забыть о чудесах, чародействе и обо всем романтическом.

---

* И скоты заговорили (*лат.*).

Все повествование должно быть погружено в среду, атмосферу. (Посмотреть «Дом Ашеров» и сослаться на него относительно глубинных ощущений от гашиша и опиума.[31])

Бывают ли математические умопомешательства, бывают ли сумасшедшие, считающие, что два плюс два равно трем? Иначе говоря, может ли галлюцинация — если такое выражение не слишком режет слух — распространяться на отвлеченные понятия? Если какой-либо человек до такой степени привык к лени, пустым мечтам, безделью, что вечно откладывает на потом наиважнейшие дела, и если другой человек в одно прекрасное утро поднимет его ударами бича и будет безжалостно хлестать, покуда тот, не умея трудиться ради удовольствия, не станет трудиться из страха, — разве этот бичующий не есть на самом деле его друг и благодетель?[32] К тому же можно утверждать, что удовольствие придет позже, и это куда резоннее, чем утверждение, будто любовь приходит после брака.

То же и в политике: истинный святой — тот, кто бичует и избивает народ для его же блага.

Вторник 13 мая 1856

Взять экземпл⟨яры⟩ у Мишеля.[33]

Написать Манну[34]

Уиллису[35]

Марии Клемм[36]

Послать к Мад. Дюмэ

— узнать насчет Мареса...[37]

В чем нет легкого уродства, то кажется бесчувственным; из этого следует, что неправильное, то есть неожиданное, необыкновенное, удивительное, — есть важнейшая часть и характернейшее свойство красоты.[38]

IX

Заметки Фейерверки

Теодор де Банвиль — не материалист в точном смысле слова; он пронизан светом.

Его поэзия — это отражение часов счастья.[39] Получив письмо от кредитора, пишите всякий раз пятьдесят строк на какую-нибудь вселенскую тему — и будете спасены!

Широкая улыбка на прекрасном лице гиганта.[40]

О самоубийстве и маниакальной тяге к самоубийству, рассмотренных в связи со статистикой, медициной и философией.

Бриер де Буамон[41]

Найти место:

Жить рядом с существом, питающим к вам одно только отвращение...

Портрет *Серена*, написанный *Сенекой*, и *Стагира*, написанный святым *Иоанном Златоустом.*

Acedia,* болезнь монахов.

Taedium vitae.**

Фейерверки

Перевод и парафраз: *Страсть все возводит к себе самой.*

Духовные и физические наслаждения, даруемые нам грозой, электричеством и молнией, набат угрюмых воспоминаний о давно минувшей любви.

X

Я нашел определение Прекрасного — моего Прекрасного.[42] Это нечто пылкое и печальное, нечто слегка зыбкое, оставляющее место для догадки. Если вы не возражаете, я приложу это свое определение к осязаемому предмету, например к самому интересному из всех, существующих в человеческом обществе, — к лицу женщины. Обольстительное, прекрасное — я говорю все о нем, о женском лице, — оно навевает мысли, пусть

---

* Угрюмость (*лат.*).

** Отвращение к жизни (*лат.*).

и смутные, но исполненные одновременно меланхолии, усталости, даже пресыщенности, или, напротив того, распаляет пламень, жажду жизни, смешанную с такой горечью, какую обычно рождают утрата и отчаяние. Тайна и сожаление тоже суть признаки Прекрасного.

Красивому мужскому лицу нет нужды выражать — возможно, не с женской точки зрения, но уж, безусловно, с мужской — ту идею сладострастия, которая сообщает лицу женщины такую привлекательность, особенно если оно проникнуто меланхолией. Но это мужское лицо тоже будет отмечено пылкостью и печалью — духовными исканиями, таимыми в глубинах души честолюбивыми замыслами, — грозной силой, не находящей себе применения, — подчас мстительным бесчувствием (поскольку такое бесчувствие весьма существенно для идеального типа денди), подчас также — и это один из самых интересных признаков красоты — тайной, и наконец (коль скоро я набрался храбрости признаться, каким модернистом чувствую себя в области эстетики) — *Горем*. Я не утверждаю, будто Радость не может сочетаться с Красотой, но, по-моему, Радость — одно из ее самых вульгарных украшений, меж тем как меланхолия, так сказать, ее благородная спутница, поэтому я не в силах вообразить (быть может, мой мозг — заколдованное зеркало?) тип красоты, которая не была бы пронизана *Горем*. Опираясь на эти мои мысли, — кое-кто, пожалуй, скажет: он одержим этими мыслями, — действительно трудно не прийти к выводу, что для меня наиболее совершенный тип мужской Красоты — это *Сатана* в манере Мильтона.[43]

XI

Фейерверки

САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ
Обдуманная уравновешенность характера.
Соразмерность характера и способностей.

Приумножать все способности.

Сохранить все способности.

Обряд веры (магия, заклинание духов).

Жертва и обет — точнейшие формулы и символы обмена.

Два основных литературных достоинства: суперна-турализм и ирония.

Индивидуальный взгляд, ракурс, в котором предстает перед писателем действительность, далее — сатанинский склад ума. Супернатуральное включает в себя общий колорит и оттенки, то есть интенсивность, звучность, прозрачность, искрометность, глубину и способность отзываться в пространстве и времени.

Бывают в жизни мгновения, когда время и протяженность делаются глубже, а ощущение жизни невероятно усиливается.

От магических призывов, обращенных к духам великих усопших, — к восстановлению и укреплению здоровья.[44]

Наитие всегда нисходит к человеку, когда оно желанно, но не всегда покидает его, когда он того пожелает.[45]

О языке и манере письма, понимаемых как магические заклинания, как волшба, вызывающая духов.

Выражение женских лиц.

Прелестные выражения, составляющие их красоту, таковы:

Пресыщенное

Скучающее

Ветреное

Бесстыдное

Холодное

Самоуглубленное

Величественное

Повелительное

Злое

Болезненное

По-кошачьи ласковое, детски-шаловливое, смесь равнодушия с хитростью

При некоторых почти сверхъестественных состояниях души вся глубина жизни приоткрывается в самых обыденных вещах, попадающихся вам на глаза. Они становятся символами.[46]

Когда, переходя бульвар, я с некоторой суетливостью увертывался от экипажей, ореол не удержался над моей головой и упал в грязь, на мостовую. К счастью, я успел его подобрать; но тут же на ум мне пришла зловещая мысль, что это дурная примета; и вот с той минуты мне было не отделаться от этой мысли: она весь день не давала мне покоя.[47]

От культа собственного «я» в любви — к соображениям здоровья, гигиены, туалета, духовной возвышенности и красноречия.

Self-purification and anti-humanity.*

В акте любви заметно большое сходство с пыткой или с хирургической операцией.

В молитве заложено магическое действо. Молитва — одна из величайших сил интеллектуальной динамики. Ее можно уподобить электрической индукции.

Четки[48] — это связующее звено, проводящая среда: это молитва, сделавшаяся общедоступной.

Труд, сознательная приумножающая сила, подобно капиталу приносит проценты как в смысле плодов этого труда, так и в смысле способностей.

Как бы плодотворна ни была игра, ведущаяся пускай даже по правилам науки, но всегда от случая к случаю, — ее все равно одолеет труд, даже самый скромный, зато постоянный.

Если поэт испросит у государства права держать у себя в конюшне нескольких буржуа, все очень удивятся, а вот если буржуа попросит себе на обед зажаренного поэта, все воспримут это как должное.

Эта книга не повергнет в смущение ни моих жен, ни дочерей, ни сестер.

Недавно он испросил позволения поцеловать у ней ножку и, пользуясь случаем, поцеловал эту прелестную

---

* Самоочищение и антигуманность (*англ.*).

ножку в тот самый миг, когда контуры ее четко вырисовывались на фоне заката.

Кошечка, киска, котяра, мой котик, волчонок, обезьянка моя, обезьянища, удавчик мой, печальный мой ослик.

Подобные языковые причуды, повторяемые слишком часто и упорно клички, заимствованные из животного мира, свидетельствуют о сатанинском начале, присущем любви: разве черти не принимают звериный облик? Верблюд Казота[49] — это и верблюд, и дьявол, и женщина.

Некий человек вместе с женой приходит в тир. Он прицеливается в куклу и говорит жене: «Я представляю себе, что это ты». Зажмуривается и разносит куклу вдребезги. Потом, целуя спутнице руку, говорит: «Ангел мой, как я тебе благодарен за свою меткость!»[50]

Когда я внушу всему свету гадливость и омерзение — тогда я добьюсь одиночества.[51]

Эта книга не предназначена для моих жен, дочерей и сестер. — Этого добра у меня немного.

У иных людей шкура, как панцирь: презирая их, не испытываешь ни малейшего удовольствия.

Много друзей, много перчаток — из опасения подхватить чесотку.

Те, кто меня любил, были людьми презираемыми, я бы даже сказал — достойными презрения, захоти я польстить порядочным людям.

Бог есть соблазн, приносящий доход.

XII

Фейерверки

Не презирайте людской чувствительности. Чувствительность любого человека — это его добрый гений.

Только в двух местах мы платим за право расходовать: в общественной уборной и у женщин.

Пылкая внебрачная связь приобретает для нас все то блаженство, которым наслаждаются юные новобрачные.

Раннее влечение к женщинам.[52] Запах мехов я путал с запахом женщины. Помню... В конечном счете я любил мать за ее элегантность. Значит, я рано сделался денди.

Предки мои, слабоумные или маньяки, в парадных покоях, обуреваемые гнусными страстями.

В пуританских странах недостает двух элементов, необходимых порядочному человеку для счастья, — галантности и набожности.

Смесь гротескного и трагического приятна уму, как диссонанс — пресыщенному уху.

В дурном вкусе есть свое упоение: это изысканное удовольствие доставлять неудовольствие.[53]

Германия выражает мечтательность линией, а Англия — перспективой.

При зарождении всякой высокой мысли происходит нервная встряска, отдающаяся в мозжечке.

Испания вкладывает в веру всю свирепость, от природы присущую любви.

Стиль. Вечно звучащая нота, вечный, не ведающий границ и рубежей стиль. Шатобриан, Альф. Рабб,[54] Эдгар По.

XIII

Фейерверки догадки

Почему демократы не любят котов, догадаться нетрудно. Кот красив; он наводит на мысли о роскоши, чистоте, неге и т. д. ...

Фейерверки

Работа, пусть и небольшая, но повторенная триста шестьдесят пять раз, приносит триста шестьдесят пять раз деньги, пусть и небольшие, но в сумме образующие целое состояние. А заодно одаряет и славой.

Точно так же множество маленьких радостей слагается в счастье.

Штампы создают гении.

Я должен создать штамп.

Словесные блестки — Шедевр.[55]

Тон Альфонса Рабба.

Тон содержанки (*Моя красавица! Ветреный пол!*).

Вечный Тон.

Краски грубые, рисунок резко очерченный.

Примадонна и подручный мясника.[56]

Моя мать — это нечто невероятное: надо ее бояться и угождать ей.

Надменный Хильдебранд.

Цезаризм Наполеона III (Письмо Эдгару Нею).

Папа и император.[57]

XIV

Фейерверки догадки

Предаться Сатане — что это?[58]

Что может быть абсурднее Прогресса, коль скоро каждодневно подтверждается, что человек всегда неизменен и равноценен любому другому человеку, то есть как был, так и остался дикарем. Что значат опасности, подстерегающие в лесу и на равнине, по сравнению с повседневными потрясениями и войнами в недрах цивилизации? Сжимает ли человек свою одураченную добычу в объятиях на бульваре или пронзает дичь в глухом лесу, — разве это не тот же неизменный человек, то есть самое совершенное из всех хищных животных?[59]

— Говорят, что мне тридцать лет, но если бы в одну минуту я проживал три... мне было бы девяносто, не так ли?[60]

Быть может, труд — это особая соль, на долгий срок сохраняющая души-мумии?

Начало романа, приступить к сюжету с какого угодно места, а чтобы не исчезло желание довести дело до конца, начать с самых красивых фраз.

XV

Фейерверки

Я полагаю, что безмерное и таинственное очарование, которое кроется в созерцании корабля, особенно плывущего, объясняется, во-первых, тем, что правильность и симметрия суть наряду со сложностью и гармонией главнейшие потребности ума человеческого, а во-вторых, последовательным умножением и воспроизведением всех тех воображаемых линий и фигур, которые описывают в пространстве реальные части предмета.

Это движение, претворяемое в линиях, рождает в нас некую поэтическую идею, некую гипотезу об огромном, необъятном, сложном, но гармоничном существе, о живом, одухотворенном организме, страдающем и взыскующем всего, чего взыскуют и к чему неустанно стремятся люди.[61]

Цивилизованные народы, вы, в тупости своей постоянно твердящие о *дикарях* и *варварах*, — очень скоро, как сулит д'Оревийи,[62] *вам не по плечу станет даже идолопоклонничество*!

Стоицизм — это религия, ведающая лишь одно таинство: самоубийство!

Придумать канву для лирической или феерической буффонады, для пантомимы, и претворить потом в серьезный роман. Погрузить все это в атмосферу неправдоподобия и сновидения, — в атмосферу великих дней. Пускай это будет нечто убаюкивающее — даже в самой страсти безмятежное. Область чистой поэзии.

Взволнованный новой встречей с наслаждением, таким похожим на воспоминания, растроганный мыслью о дурно прожитом минувшем, о стольких ошибках, стольких распрях, стольких проступках, которые нужно было друг от друга скрывать, он заплакал; и горючие слезы в потемках закапали на обнаженное плечо его дорогой и по-прежнему желанной возлюбленной. Она вздрогнула: она тоже была тронута, тоже расчувствовалась. Потемки

служили надежным укрытием ее тщеславию, ее дендизму холодной женщины. Эти два существа, опустившиеся, но все еще сохранявшие остатки благородства и поэтому способные страдать, внезапно заключили друг друга в объятия, мешая в дожде слез и поцелуев горести минувшего со столь зыбкими надеждами на будущее. Вероятно, никогда наслаждение не было исполнено для них такой нежности, как в эту ночь, источавшую печаль и сострадание, — наслаждение, напитанное болью и угрызениями совести.

Сквозь ночную темень он вглядывался в глубь годов, оставшихся позади, потом бросился в объятия грешной своей подруги с надеждой, что она простит его, как он ее простил.

Гюго часто думает о Прометее.[63] Он прижимает воображаемого грифа к груди, которую пощипывают лишь полынные сигары тщеславия. Галлюцинация все усложняется, развивается, прогрессируя согласно описанной врачами схеме, и вот он уже воображает, будто по воле Провидения остров Джерси превратился в остров Святой Елены.

В этом человеке так мало элегического, так мало воздушного, что он внушил бы отвращение даже нотариусу.

Жрецы, блюдущие культ Гюго, ходят всегда склонив головы — да так низко, что не видят ничего, кроме собственных пупов.

Кто только не зовется ныне жрецом? Юнцы — и те сплошь стали жрецами, по уверениям самих юнцов.

И что только не именуют нынче молитвой! Испражняться — тоже молиться, если верить тому, что говорят, испражняясь, демократы.

Г-н де Понмартен[64] всегда выглядит так, словно только что прибыл из родной провинции...

Человек — имею в виду всех и каждого — от природы настолько испорчен, что менее страдает от общей приниженности, чем от установления разумной иерархии.

Земной мир придет к своему концу.[65] Единственная причина, по которой он мог бы существовать и далее, со-

стоит в том, что он существует. Но как зыбка эта причина в сравнении с теми, что предвещают обратное, в частности, например, вот с такой: осталось ли у земного мира хоть какое-нибудь предназначение во вселенной? Ибо, пускай он по-прежнему будет существовать в материальном смысле, останется ли его существование достойно этого слова и упоминания в историческом словаре? Я вовсе не утверждаю, что мир скатится до шутовских уловок и неразберихи южноамериканских республик, что даже, быть может, мы снова превратимся в дикарей и с ружьем в руках пойдем через поросшие травой руины нашей цивилизации искать себе пропитание. Нет, ибо такая судьба и такие приключения все же предполагали бы некую жизненную энергию, отголосок древнейших времен. Новейшие образчики и новейшие жертвы неумолимых нравственных законов, мы погибнем от того самого, в чем видели средство выжить. Нас настолько американизирует механика, а прогресс настолько атрофирует в нас духовное начало, что с его положительными результатами не сравнится ни одна кровожадная, кощунственная или противоестественная греза утопистов. Пусть кто-нибудь из мыслящих людей назовет мне хоть что-то, поныне уцелевшее от живой жизни. Что до религии, полагаю бесполезным толковать о ней и выискивать ее остатки, ибо снисходить до отрицания Бога — вот единственное, чем можно соблазниться в подобных вопросах. Собственность исчезла, видимо, одновременно с отменой права первородства; но придет час, когда человечество, подобно людоеду-мстителю, вырвет последний кусок изо рта у тех, кто считает себя наследниками революций, и это будет еще не худшим из зол.

Человеческое воображение без особого труда может представить себе республики или другие управляемые сообща государственные устройства, достойные даже некоторой славы, коль скоро там во главе власти стоят священные персоны, истинные аристократы. Однако всеобщий крах, или всеобщий прогресс, проявится более всего не в политических учреждениях, ибо мне не так уж и важно, что как называется. Он проявится в оди-

чании сердец. Надо ли говорить, что ничтожные последыши-политиканы станут жалко барахтаться в объятиях всеобщего озверения и что правителям, желающим удержаться у кормила власти и создать призрак порядка, придется прибегнуть к средствам, которые заставили бы содрогнуться нынешнее столь очерствевшее человечество? Вот тогда сын сбежит из родного дома не в восемнадцать лет, а в двенадцать, повинуясь зову своей всеядной преждевременной зрелости, и сбежит не в поисках героических приключений, не ради того, чтобы освободить красавицу, томящуюся в башне, не ради того, чтобы обессмертить каморку на чердаке возвышенными помыслами, а чтобы основать свое дело, обогатиться и составить конкуренцию собственному подлому папаше, основателю и акционеру газеты, которая будет распространять просвещение и в сравнении с которой тогдашний «Сьёкль»[66] покажется оплотом достоверности. И тогда заблудшие, опустившиеся женщины, успевшие переменить по нескольку любовников, те, кого иногда благодарно именуют ангелами за то легкомыслие, что, подобно блуждающему огоньку, озаряет их существование, логичное, как само зло, — вот они-то и предстанут воплощением беспощадной мудрости, — мудрости, которая безоговорочно осудит все, кроме денег, все, даже обман чувств! Тогда любое свойство, сходное с добродетелью, — да что я говорю! — все, что не есть прямая приверженность Плутосу, будет считаться пределом бессмыслицы. Правосудие — если в те благодатные времена еще уцелеет правосудие! — объявит недееспособными тех граждан, которые не сумеют сколотить себе состояния. Твоя супруга, о Буржуа! — твоя целомудренная половина, чья законность в твоих глазах овеяна поэзией, ибо узаконивает безупречную мерзость, — бдительная и нежная охранительница твоего сейфа станет наконец совершенным образцом содержанки. Твоя дочь, в ребяческой своей зрелости, в колыбели станет грезить о том, как она продаст себя за миллион. А ты сам, о Буржуа, — будучи еще в меньшей степени поэтом, чем ныне, — ты не усмотришь в этом ничего дурного; ты не

пожалеешь ни о чем. Ибо в человеке одно укрепляется и разрастается по мере того, как другое истончается и сходит на нет, и со временем благодаря прогрессу внутри у тебя ничего не останется, кроме кишок! Времена эти, быть может, совсем недалеки, возможно даже, что они уже пришли, и лишь ожирение наших чувств препятствует нам оценить атмосферу, которой мы дышим!

Ну а я, подчас ощущающий в себе нелепую чудаковатость пророка, — я знаю, что никогда мне не удастся обрести человеколюбие врача. Затерянный в этом гнусном мире, затертый и помятый людскими толпами, я подобен измученному человеку, который, озираясь назад, в глубь годов, видит лишь разочарование да горечь, а глядя вперед — грозу, не несущую в себе ничего нового, ни знания, ни скорби. Ввечеру, украв у судьбы несколько часов радости, убаюканный пищеварением, забывший — насколько возможно забыть — о минувшем, довольный настоящим и смирившийся с будущим, упоенный своим хладнокровием и своим дендизмом, гордый тем, что не опустился так низко, как те, что проходят мимо, человек этот говорит себе, созерцая дым от своей сигары: «Какое мне дело до того, куда идут эти поденщики?»

Пожалуй, я отвлекся на то, что у профессионалов называется вставным эпизодом. Все же оставляю эти страницы, ибо хочу обозначить дату своей ярости (печали).

ГИГИЕНА

I

Фейерверки Гигиена Наброски

Чем больше желаешь, тем лучше желаешь.

Чем больше трудишься, тем лучше трудишься и тем больше хочешь трудиться. Чем больше производишь, тем становишься плодовитее.

После загула всегда чувствуешь себя более одиноким, более заброшенным.

И нравственно и физически я всегда ощущал близость бездны,[67] — не только бездны сна, но и бездны действия, воспоминания, мечты, желания, печали, раскаяния, красоты, множества и т. д.

С наслаждением и ужасом я пестовал свою истерию. Теперь у меня все время кружится голова, а сегодня, 23 января 1862 года, мне было дано странное предупреждение, я почувствовал, как на меня повеял ветер, поднятый крылом безумия.

Гигиена Мораль

В Онфлёр![68] Как можно скорей, пока не скатился еще ниже.

Сколько предчувствий и сколько знамений, ниспосланных мне Богом, свидетельствуют, что поистине приспело время действовать и пора наконец осознать, что нынешняя минута — это наиболее важная из всех минут, пора превратить мою привычную пытку, то есть Труд, в беспредельное наслаждение!

II

Гигиена Поведение Мораль

Нас ежеминутно гнетут идея и ощущение времени. И есть только два способа избавиться от этого кошмара, забыть о нем: наслаждение и труд. Наслаждение изнуряет нас. Труд придает сил. Давайте выбирать.

Чем дольше прибегаем мы к одному из этих способов, тем большее отвращение испытываем к другому.

Только используя время, можно забыть о нем.

Все совершается только постепенно.

Фейерверки

Рассуждать меня научили де Местр и Эдгар По.[69]

Долгий труд — это такой труд, к которому не осмеливаешься приступить. Он превращается в кошмар.

Гигиена

Откладывая на потом то, что следует сделать сейчас, рискуешь так никогда и не суметь это сделать.

Не обратившись на путь истинный сразу, подвергаешься опасности погубить свою душу.

Чтобы исцелиться от чего угодно, от нищеты, болезни и меланхолии, недостает только одного — вкуса к труду.

III

Драгоценные записи

Изо дня в день делай, что велят долг и благоразумие.

Если будешь работать изо дня в день, жизнь сделается для тебя более сносной.

Работай шесть дней, не давая себе передышки.

Чтобы найти сюжеты, γνωθι σεαυτον*[70] (список моих пристрастий).

Всегда оставайся поэтом, даже в прозе. Высокий стиль (ничего нет прекраснее общих мест).

Прежде всего начни, а далее прибегай к логике и анализу. Любая гипотеза требует вывода.[71]

Обрести ежедневное лихорадочное рвение.

IV

Гигиена Поведение Мораль

Две части:

Долги (Ансель[72])

Друзья (мать, друзья, я сам).

Итак, 1000 фр. следует разделить на две части по 500 фр. каждая и одну часть — на три доли.

---

* Познай самого себя (*греч.*).

В Онфлёре:

Пересмотреть и разложить по порядку все мои письма (два дня).

И все мои долги (два дня). (Четыре категории: векселя, крупные долги, мелкие долги, друзья.)

Разобрать гравюры (два дня).

Разобрать записи (два дня).[73]

V

Гигиена Мораль Поведение

Слишком поздно, быть может! — Мать и Жанна.[74] — Мое здоровье — из милосердия, из чувства долга! — Болезнь Жанны. Немощь и одиночество матери.

— Неукоснительно исполнять свой сегодняшний долг, а в том, что касается завтрашнего, полагаться на Бога.

— Единственный способ заработать денег состоит в том, чтобы трудиться бескорыстно.

Мудрость в кратком изложении. Утренний туалет, молитва, труд.

— Молитва: милосердие, мудрость и сила.

— Без милосердия я лишь кимвал бряцающий.[75]

— Мои унижения были милостью Божией.

— Окончилась ли для меня фаза эгоизма?

— Способность откликаться на сиюминутную необходимость, короче говоря, неукоснительная точность, безусловно, будет вознаграждена.

«Затянувшееся до бесконечности горе действует на душу, как старость на тело: человек уже не в силах шевельнуться; он ложится...

С другой стороны, ранняя молодость бывает поводом для всяческих отсрочек; когда у человека в запасе много времени, он уговаривает себя, что впереди у него годы и годы, которые можно беспечно растрачивать в ожидании грядущих событий».

Шатобриан[76]

VI

Гигиена Поведение Метод

Жанне 300, матери 200, мне 300. 800 фр. в месяц. Работать с утра до полудня натощак. Работать вслепую, без цели, с одержимостью сумасшедшего. Поглядим, что из этого выйдет.

Мне кажется, что судьба моя зависит от того, сумею ли я ежедневно и неотрывно трудиться по нескольку часов.

Все поправимо. Время еще есть. И даже — кто знает! — будут еще и новые радости...

Слава, расплачусь со всеми долгами. Благоденствие Жанны и матери.

Я еще не изведал радости, которую приносит исполнение плана. Могущество навязчивой идеи. Могущество Надежды.

Привычка к исполнению Долга прогоняет страх. Надобно хотеть мечтать и уметь мечтать. Заклинание вдохновения. Магическое искусство. Немедля сесть за стол и писать. Я чересчур много рассуждаю.

Сиюминутный труд, даже неумелый, все равно ценнее погружения в грезы.

Череда малых волевых усилий приносит значительные плоды.

Каждое послабление воли — это частичка утраченной субстанции. До чего же расточительно колебание! Подумать только, какие огромные усилия приходится совершать впоследствии, чтобы покрыть такие потери!

Человек, совершающий ввечеру молитву, — все равно что офицер, выставляющий часовых. Он может спать спокойно.

Сны о Смерти и предупреждение.

До сих пор я наслаждался своими воспоминаниями только в полном одиночестве. Нужно наслаждаться ими вдвоем. Обратить сердечные услады в страсть.

Ведь я понимаю, что такое жизнь, достойная славы;
я чувствую, что способен прожить ее. О Жан-Жак![77]

Труд — хочешь не хочешь — порождает добронравие, умеренность и нравственную чистоту, а значит, и здоровье, богатство, последовательный и постоянный рост дарования и милосердие.

Age quod agis.*

Рыба, холодные ванны, душ, мох, в случае надобности пастилки; первым делом исключить все возбуждающее.

Исландский мох 125 г.
Белый сахар 250 г.

Вымачивать мох в течение 12—15 часов в достаточном количестве холодной воды, затем эту воду слить.

Кипятить мох в 2 литрах воды на слабом огне, пока два литра не уменьшатся до одного; один раз снять пену; затем добавить 250 граммов сахара и варить, пока не загустеет до консистенции сиропа.

Остудить. В день принимать по три большие столовые ложки утром, днем и вечером. Если приступы участятся, дозу можно превышать.[78]

VII

Гигиена Поведение Метод

Клянусь самому себе, что следующие правила сделаются отныне незыблемыми правилами моей жизни.

Каждое утро возносить молитву Богу — вместилищу всей сущей силы и справедливости и моим заступникам — отцу, Мариетте и По; молить их о ниспослании мне силы, достаточной для исполнения моего долга, и о даровании матери моей такого долголетия, чтобы она дождалась моего перерождения; трудиться целый день или по крайности столько, сколько позволят силы; в осуществлении моих планов положиться на Бога, то есть на воплощенную Справедливость; каждый вечер снова молиться, испрашивая у Бога жизни и сил для матери и для меня; всякий заработок делить на четыре части — одну на каждодневные нужды, одну кредиторам, одну друзь-

* Делай свое дело (*лат.*).

ям, а одну матери; повиноваться правилам самой строгой воздержанности, из коих первое — это отказ от всех возбуждающих средств, каковы бы они ни были.

VIII

Гигиена Поведение Метод

(Извлечение из «The Conduct of Life» Эмерсона)

Great men... have not been boasters and buttons, but perceivers of *the terror of life*, and have manned themselves to face it.

«Fate is nothing but the deeds committed in a prior state of existence».

«What we wish for in youth comes in heaps on us in old age», too often cursed with the granting of our prayer; and hence the high caution, that since we are sure of having what we wish we beware to ask only for high things.

The one prudence in life is concentration! the one evil is dissipation.

The poet Campbell said that «a man accustomed to work was equal to any achievement he resolved on, and that, for himself necessity, not inspiration, was the prompter of his muse».*

---

* Великие люди... не были хвастунами и фиглярами, но ужас жизни был внятен им, и они мужались перед его лицом.

«Судьба есть не что иное, как поступки, совершенные в предыдущем существовании».

«То, чего мы желаем в молодости, с избытком приходит к нам в старости», чем слишком часто бывает омрачено исполнение наших желаний; следовательно, нам ниспослано торжественное предупреждение о том, что, коль скоро мы наверняка получим желаемое, следует быть начеку и желать лишь по-настоящему великих вещей.

Единственное правило благоразумия в жизни есть сосредоточенность; единственное зло — рассеяние.

Поэт Кемпбелл говорит, что «человек, привычный к труду, способен успешно исполнить всякую задачу, какую он перед собой поставит, и если говорить о нем самом, стрекалом для его музы была необходимость, а не вдохновение».

In our flowing affairs a decision must be made, — the best if you can; but any is better than none.

The second substitute for temperament is drill, the power of use and routine.

«More are made good by exercitation than by nature», said Democritus.

Mirabeau said: «Why should we feel ourselves to be men, unless it be to succeed in everything, everywhere. You must say of nothing: *That is beneath me*, nor feel that anything can be out of your power. Nothing is impossible to the man who can will. *Is that necessary? That shall be.* This is the only *Law of success*».

We acquire the strength we have overcome.

The hero is he who is immovably centred.

The main difference between people seems to be, that one man can come under obligation on which you can rely; and another is not. As he has not a law within him, there's nothing to tie him to.

If you would be powerful, pretend to be powerful.*[79]

---

* В наших повседневных делах надобно бывает принять решение — по мере возможности наилучшее; но какое угодно решение все-таки предпочтительнее, чем отсутствие решения.

Если характер слабеет — на то есть дисциплина, власть обычая и привычка.

«Среди добродетельных людей больше таких, кто пришел к этому путем упражнения, чем тех, кто добродетелен от природы», говорит Демокрит.

Мирабо говорил: «Какое право имели бы мы назвать себя людьми, если бы мы не стремились всегда и во всем добиваться успеха? Никогда ни о чем не говорите: *Это дело не стоит моих усилий*, и не думайте, будто оно вам не по плечу. Нет невозможного для человека, который умеет хотеть. *Необходимо ли это? Без этого не обойтись.* Таков единственный Закон успеха».

Мы обретаем силу, когда делаем над собой усилие.

Герой — это тот, кто неизменно сосредоточен.

Главное различие между людьми состоит, видимо, в том, что одни способны принять на себя обязательства, на исполнение которых можно рассчитывать, а другие этого не делают. Тот, кто не имеет внутреннего закона в душе, не может быть ни к чему привязан.

Если хотите быть могущественным — притворитесь могущественным.

Seeketh thou great things? seek them not.[80]

Conduct of life
— Great men have not been... for high things.
— his heart (was) the throne of will.
— Life is search after power.
— No honest seeking goes unterwarded.
— We must recon success a constitutional trait.
— The one prudence... of his muse.
— A decision... said Democritus.
— Pecunia alter sanguis.
— Mirabeau said... immovably centered.
— Your theories and plans of life are fair and commendable;
— But will you... stick?
— If you... powerful.*

МОЕ ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ

I

Распыление и сосредоточение своего Я. В этом всё.

Какое-то чувственное наслаждение испытываешь в обществе сумасбродов.

---

* Ты ищешь великих деяний? Не ищи!
Жизненное направление
— Великие люди не были... для великих вещей.
— его сердце было престолом воли.
— Жизнь есть стремление к могуществу.
— Не бывает добросовестных поисков, которые остались бы без вознаграждения.
— Стремление к успеху следует рассматривать как неотъемлемую черту нашей натуры.
— Единственное правило благоразумия... его вдохновения.
— Решение... утверждал Демокрит.
— Деньги — разновидность крови (*лат.*).
— Мирабо говорил... неизменно сосредоточен.
— Ваши теории и жизненные планы законны и похвальны;
— Но будете ли вы им следовать?
— Если вы... могущественным (*англ.*).

(Я могу начать «Мое обнаженное сердце» с чего попало и как попало, а потом продолжать изо дня в день, покорствуя вдохновению, которое ниспошлют мне день и обстоятельства, лишь бы было вдохновение.)

Говорить о себе имеет право любой, лишь бы он умел быть занимательным.

Я понимаю людей, которые отрекаются от одного дела, чтобы испытать, каково это — служить другому, прямо противоположному.

Наверное, это сладостно — быть попеременно то жертвой, то палачом.[81]

Глупости Жирардена.[82]

Мы привыкли брать быка за рога. Итак, начнем с конца (7 ноября 1863).

Итак, Жирарден полагает, что рога у быков растут на заду. Он путает рога с хвостом.

Прежде чем подражать Птолемеям французской журналистики, пускай бельгийские журналисты дадут себе труд поразмыслить над вопросом, который на протяжении тридцати лет я исследую со всех сторон, подтверждением чему будет том, который вскоре выйдет в свет под заголовком «Вопросы печати»; пускай не торопятся они объявлять в высшей степени смехотворным мнение столь же верное, сколь верно то, что Земля вращается, а Солнце не вращается.

Эмиль де Жирарден

II

«Некоторые люди утверждают, будто ничто не противоречит их утверждениям, что Земля вращается вокруг своей оси в неподвижном небе. Но люди эти не понимают, что их мнение, основанное лишь на происходящем, в высшей степени смехотворно».

Птолемей, Альмагест. Кн. I. Гл. VI.

Et habea mea mentrita (sic) meatum.*

Жирарден

* Бессмысленный набор латинских слов.

III

Женщина — противоположность денди.[83] Следовательно, она должна внушать отвращение. Женщина испытывает голод — и хочет есть. Испытывает жажду — и хочет пить.

Она в течке — и хочет, чтобы ее... Великая заслуга!

Женщина *естественна*, то есть омерзительна. К тому же она всегда вульгарна и, значит, полная противоположность денди.

Касательно ордена Почетного легиона.[84]

Кто домогается ордена, тот словно говорит: «Если меня не наградят за то, что я исполнил свой долг, я больше не стану его исполнять».

Если человек имеет заслуги, с какой стати его награждать? Если же не имеет, тогда можно и наградить, это придаст ему блеску.

Согласиться принять награду — значит признать за государством или властителем право судить вас, прославлять и т. д.

Впрочем, в защиту ордена свидетельствует если не гордыня, то христианское смирение.

Выкладки в пользу Бога.[85]

Все существующее имеет некую цель. Следовательно, мое существование имеет цель. Какую? Мне сие неизвестно.

Следовательно, не я определил эту цель. Следовательно, это сделал кто-то, кто мудрее меня. Из этого следует, что нужно молиться, чтобы этот «кто-то» меня просветил. Вот самое разумное решение.

Денди должен непрерывно стремиться к совершенству. Он должен жить и спать перед зеркалом.

IV

Анализ безбожия, пример: священная проституция.

Что такое священная проституция?[86]

Нервное возбуждение.

Языческая мистика.

Мистицизм, черта, роднящая язычество с христианством.[87]

Язычество и христианство взаимно подтверждают друг друга.

Революция и культ Разума подтверждают идею жертвенности.

Суеверие — хранилище всех истин.[88]

В любых переменах кроется нечто отвратительное и вместе с тем приятное, нечто общее и с предательством, и с переездом на другую квартиру. Этого довольно, чтобы объяснить французскую революцию.

V

Мое упоение в 1848 году.[89]

Какой природы было это упоение?

Жажда мести. *Врожденная* страсть к разрушению.

Литературное упоение; воспоминания о прочитанном.

15 мая.[90] — Все та же тяга к разрушению. Тяга вполне законная, коль скоро то, что дано нам от природы, законно.

Ужасы июня. Безумие толпы и безумие буржуазии. Врожденная любовь к кровопролитию.[91]

Ярость, охватившая меня во время государственного переворота. Сколько раз я лез под выстрелы. Тоже мне Бонапарт выискался! Какой стыд!

И все же настало умиротворение. Разве президент не имеет права взывать к народу?

Что представляет собой император Наполеон III. Чего он стоит. Отыскать объяснение его сути и его провиденциальной роли.[92]

VI

Быть полезным человеком всегда казалось мне ужасной гадостью.

1848 год был занятным временем только потому, что каждый основывал на нем собственные утопии, похожие на воздушные замки.

Обаяние 1848 года объясняется самим избытком его смехотворности.

Робеспьер достоин почтения уже за несколько произнесенных им прекрасных фраз.[93]

Жертвоприношением Революция упрочивает суеверие.

VII

Политика

У меня нет убеждений в том смысле, как это понимают люди в нынешнем веке, потому что я лишен честолюбия.

Во мне нет основы для убеждений.

Есть в добропорядочных людях какая-то трусоватость или, верней, какая-то дряблость.

Только разбойники бывают твердо убеждены. — В чем? — Да в том, что непременно должны преуспеть. Они и преуспевают.

А с какой стати преуспевать мне, тем более что я даже и не пытался преуспеть?

На злодеянии можно основать победоносную державу, на лжи — высоконравственную религию.

Все же есть у меня определенные убеждения, но это убеждения более возвышенного толка и недоступные разумению моих современников.

С детства — чувство одиночества.[94] Несмотря на родных — и особенно в среде товарищей — чувство вечной обреченности на одинокую судьбу.

Вместе с тем — очень острый вкус к жизни и к наслаждению.[95]

VIII

Чуть не вся наша жизнь тратится на удовлетворение дурацкого любопытства. Зато многое, что должно бы возбуждать в людях огромное любопытство, нисколько их не интересует, если судить по их повседневной жизни.[96]

Где наши умершие друзья?

Почему мы здесь?

Может быть, мы пришельцы из иных миров?

Что такое свобода?

Как она согласуется с законом, ниспосланным свыше?

Поддается счету число душ, или оно бессчетно?

А количество земель, пригодных для обитания?

И т. д., и т. п.

Нации порождают великих людей вопреки собственной воле. Значит, великий человек — победитель всей своей нации.

Смехотворные современные религии.

Мольер.

Беранже.

Гарибальди.[97]

IX

Вера в прогресс — учение лентяев, учение бельгийцев.[98] Ее можно уподобить расчету человека на то, что порученное ему дело исполнят соседи.

Не может быть прогресса (настоящего, нравственного) нигде, кроме как в человеке и посредством усилий самого человека.

Но мир полон людей, умеющих мыслить только сообща, всем скопом. Отсюда все эти *Бельгийские общества*.

А еще есть люди, которые умеют веселиться только в стаде. Истинный герой веселится в одиночку.

Вечное превосходство денди.

Денди — что это означает?

X

Мое мнение о театре.[99] Прекраснее всего в театре мне всегда — и в детстве, и теперь — казалась люстра, великолепная сияющая штуковина, прозрачно-хрустальная, сложная, круглая и симметричная.

Однако я ничуть не отрицаю достоинств драматических произведений. Мне бы только хотелось, чтобы актеры были вознесены на очень высокие котурны, чтобы на них были маски, более выразительные, чем человеческие лица, и чтобы они говорили в рупоры, и, наконец, чтобы женские роли играли мужчины.

Вообще-то говоря, главным действующим лицом мне всегда представлялась люстра, каким концом — широким или узким — ни наводи на нее театральный бинокль.

Нужно трудиться если не из склонности, то хотя бы из отчаяния, потому что, если все хорошенько взвесить, трудиться не так скучно, как развлекаться.

XI

В любом человеке в любую минуту уживаются два одновременных порыва — один к Богу, другой к Сатане. Обращение к Богу, или духовное начало, — это желание возвыситься, ступень за ступенью; обращение же к Сатане, или животное начало, — это жажда опуститься еще ниже. Именно этой жаждой можно объяснить любовь к женщинам и задушевные беседы с животными — кошками, собаками и т. п.

Радости, которые приносят нам эти два вида любви, сродни природе обеих любовей.

Опьянение Человечества.

Создать большое полотно:

В духе милосердия.

В духе вольнодумства.

В литературном или комедийном духе.

XII

Допрос с пристрастием (пытка) как способ узнать истину — это глупость и варварство, это попытка физическими средствами достичь духовной цели.

Смертная казнь — следствие мистической идеи, в наши дни совершенно непонятной. Смертная казнь не преследует цели спасти общество — по крайней мере в материальном смысле. Цель ее — *спасение* (духовное) и общества, и преступника. Для вящей завершенности жертвоприношения от жертвы требуется радостная готовность. Давать осужденному на смерть хлороформ было бы сочтено безбожием: ведь тем самым у преступника отняли бы сознание собственного величия и лишили бы его надежды попасть в рай.

Ну а пытка — это порождение подлости, живущей в человеческом сердце, снедаемом сластолюбием. Жестокость и сластолюбие — тождественные ощущения, как предельный жар и предельный холод.

XIII

Что я думаю о голосовании и избирательном праве. Права человека.

То низменное, что кроется в любой деятельности.

Денди ничего не делает.

Можете ли вы представить себе денди, взывающего к народу, — ну разве что с издевкой?

Разумно и твердо править способна только аристократия.

Монархия и республика, основанные на демократии, равно нелепы и слабы.

Чудовищная тошнотворность афиш.

На свете есть только три почтенных лица:
священник, воин, поэт. Знать, убивать и творить.

Все прочие — плательщики податей, исполнители повинностей, рожденные для конюшни, то есть для так называемых профессий.

XIV

Заметим, что поборники отмены смертной казни должны быть более или менее *заинтересованы* в ее отмене.

Часто эти люди — те самые, что отправляют других на гильотину. Подоплека такова: «Я хочу иметь возможность снести тебе голову, но уж ты моей головы не коснешься».

Поборники отмены души (*материалисты*) неизбежно оказываются поборниками отмены *ада*; они в этом явно заинтересованы.

Эти люди по меньшей мере *боятся воскреснуть* — они лентяи.[100]

Г-жа Меттерних, хоть и княгиня, забыла ответить мне по поводу того, что я высказал о ней и о Вагнере.[101]

Нравы XIX века.

XV

История моих переводов из Эдгара По.

История «Цветов зла», унизительное недоразумение и суд надо мной.[102]

История моих взаимоотношений со всеми знаменитыми людьми нашего времени.

Премилые портреты нескольких болванов:

Клемана де Риса.

Кастаньяри.[103]

Портреты судей, чиновников, издателей газет и т. д.

Вообще портрет художника.

О главном редакторе и тупой посредственности.[104] Великая тяга всех французов к посредственности и диктатуре. Это все то же «Если бы я был король!»

Портреты и анекдоты.

Франсуа, — Бюлоз, — Уссе, — хваленый Руи, — Де Калонн, — Шарпантье — исправляющий своих авторов по праву равенства, дарованного всем людям бессмертными принципами 89-го года; Шевалье — образец главного редактора в духе Империи.[105]

XVI

О Жорж Санд

Санд, даром что женщина, — сущий Прюдом[106] по части безнравственности. Она всегда была проповедницей нравственности.

Правда, в свое время она попирала нравственность. К тому же она никогда не была художественной натурой.

Она владеет хваленым «легким» слогом, который мил сердцам буржуа.

Она глупа, она тяжела, она болтлива, в ее суждениях о нравственности столько же глубины и столько же тонкости чувств, сколько у консьержек и содержанок.

Что она говорит о своей матери.

Что она говорит о поэзии.

Ее пристрастие к рабочим.[107]

То, что в эту клоаку ухитрилось втюриться несколько мужчин, как нельзя лучше доказывает, сколь низко пали мужчины в нынешнем веке.

Смотри предисловие к «Мадемуазель Ла Кентини», где она утверждает, будто истинные христиане не верят в ад. Сандиха ратует за *Бога хороших людей*, Бога консьержек и вороватой прислуги.[108] То-то ей и хочется отменить ад.

XVII

Дьявол и Жорж Санд

Не следует думать, будто дьявол искушает только гениальных людей. Разумеется, он презирает дураков, однако не брезгует победой над ними. Совсем напротив, он возлагает на них большие надежды.

Взять к примеру Жорж Санд. Она по преимуществу не что иное, как круглая дура; но она *одержима нечистой силой*. Сам дьявол убедил эту особу довериться ее

доброму сердцу и *здравому смыслу*, чтобы она убедила всех других круглых дураков довериться их добрым сердцам и здравому смыслу.

Я просто не могу думать об этой глупой твари без дрожи отвращения. Повстречайся я с ней, я запустил бы ей в голову чашу со святой водой.

Жорж Санд — одна из тех престарелых инженю, что никак не желают сойти со сцены.

Не так давно прочел я одно предисловие (это было предисловие к «Мадемуазель Ла Кентини»), где она уверяет, будто истинный христианин не может верить в ад.

Ей не без оснований хотелось бы отменить ад.

Религия этой бабы Санд. Предисловие к «Мадемуазель Ла Кентини». У этой бабы Санд есть корысть в том, чтобы верить, будто ада нет.

XVIII

Мне скучно во Франции — главным образом потому, что все здесь похожи на Вольтера.

Эмерсон в своих «Представителях человечества» забыл упомянуть Вольтера. Он мог бы написать премилую главу под заглавием «Вольтер, или Антипоэт, король зевак,[109] князь верхоглядов, антихудожник, провидец для консьержек, папаша Жигонь,[110] для редакторов „Сьёкль“».

В «Ушах графа Честерфилда»[111] Вольтер насмехается над этой нашей бессмертной душой, которая девять месяцев пребывала среди экскрементов и урины. Как все лентяи, Вольтер ненавидел тайну.

Не в силах отменить любовь, церковь пожелала хотя бы ее обеззаразить и учредила брак.

XIX

Портрет литературной сволочи.

Доктор Кафестоликус Мерзавус Педантиссимус. Изваяние в манере Праксителя.[112]

Его трубка.

Суждения.

Гегельянство.

Скаредность.

Взгляды на искусство.

Желчность.

Завистливость.

Премилая картина современной молодежи.

Φαρμαχοτριδησ ανηρ χαι των τουσ οφεισ εσ τα θανματα τρεφοντων*[113]

XX

Богословие.

Что такое грехопадение?

Если это — единство, ставшее двойственностью, значит, грехопадение совершил Господь.

По меньшей мере он мог угадать в этой локализации хитрость Божьего промысла и издевку над любовью, а в способе деторождения — как бы клеймо первородного греха. В самом деле предаваться любви мы можем только с помощью тех органов, кои служат нам для испражнения.

Другими словами, разве акт творения не был грехопадением Бога?

Дендизм

Что это такое — человек, превосходящий других?

Это не специалист.

Это человек, располагающий досугом и разносторонне образованный.

Быть богатым и любить труд.

Почему умный человек больше любит девок, чем светских женщин, даром что и те и другие одинаково глупы? — Найти ответ.

---

* Аптекарь из тех людей, кои выращивают змей, чтобы извлекать из них чудодейственные вещества (*греч.*).

XXI

Женщины определенного разбора весьма напоминают орден Почетного легиона. С ними уже не хочется иметь дела, потому что они замараны близостью с определенными мужчинами.

Из тех же соображений я не стану надевать штаны чесоточного.

Любовь раздражает тем, что для этого преступления необходим сообщник.

Исследование великой хвори, состоящей в боязни своего дома. Причины хвори. Прогрессирующее развитие этой хвори.

Возмущение всеобщим самодовольством, присущим всем сословиям, всем особям, как мужского пола, так и женского, и всем возрастам.

Человек до того любит человека,[114] что, даже убежав из города, продолжает искать толпу, то есть воссоздает город в чистом поле.

XXII

Речь Дюрандо о японцах. (Я — прежде всего француз!) Японцы — мартышки. Мне об этом рассказал Даржу.[115]

Речь некоего лекаря, друга Матье,[116] о способах избегнуть зачатия, о Моисее и о бессмертии души. Искусство — цивилизующая сила (Кастаньяри). Облик мудреца и его семьи — живут в шестом этаже, пьют кофе с молоком.[117]

Сьёр Наккар-отец и сьёр Наккар-сын.

Каким образом этот самый Наккар-сын сделался советником в апелляционном суде.[118]

XXIII

Любовь и слабость французов к военным метафорам. У нас всякая метафора с усами.

Воинствующая литература.

Закрыть собой брешь.

Высоко нести знамя.

Высоко и крепко держать знамя.

Ринуться в схватку.

Один из ветеранов.

Вся эта победоносная фразеология, как правило, относится к болванам и бездельникам из кофеен.

Французские метафоры.

Солдат судебной журналистики (Бертен).[119]

Воинствующая журналистика.

Добавить к военным метафорам:

Боевитые поэты.

Литературный авангард.

Такая привычка к военным метафорам свидетельствует об умах не столько воинственных, сколько склонных к дисциплине, то есть к соглашательству, об умах от рождения раболепных, бельгийской складки, умеющих мыслить лишь сообща.

XXIV

Вкус к наслаждению привязывает нас к настоящему. Забота о спасении души притягивает к будущему.

Тот, кто цепляется за наслаждение, то есть за сиюминутное, подобен, на мой взгляд, человеку, который скатывается по склону горы и, пытаясь удержаться, хватается за кусты, но вырывает их и увлекает вслед за собой.

Прежде всего — быть *великим* и *Святым* ради самого себя.

Ненависть народа к прекрасному.

Примеры.

Жанна и госпожа Мюллер.[120]

XXV

Политика

В общем, с точки зрения истории и французского народа, громкая слава Наполеона III останется доказательством того, что первый встречный, захватив телеграф и национальную типографию, может править великой нацией.

Безмозглые глупцы те, кто воображает, будто такое может твориться без народного соизволения, — и кто воображает, будто слава всегда основана только на добродетели.

Диктаторы — слуги народа и ничего более, — роль весьма незавидная, ну а слава — это результат приноравливания ума одной отдельной личности к национальной глупости.

Что такое любовь?

Потребность выйти за пределы себя.

Человек — это животное, наделенное потребностью обожать.

Обожать — значит жертвовать собой и продавать себя.

Итак, всякая любовь продажна.

Самое блудливое существо есть существо, вознесенное надо всеми, — это Бог, потому что он — наивернейший друг каждого человека, всеобщий и неисчерпаемый источник любви.

МОЛИТВА

Да не падет назначенная мне кара на мою мать, да не казнишь ее за меня. Тебе поручаю души отца и Мариетты. Ниспошли мне сил для неуклонного исполнения повседневного долга, дабы я стал героем и святым.

XXVI

Глава о неистребимой, вечной, всеобщей и хитроумной людской свирепости.

О кровожадности.

Об упоении кровью.

Об упоении, охватывающем толпу.

Об упоении истязаемого (Дамьен[121]).

Среди людей только поэт, священник и воин обладают величием.

Один поет, другой благословляет, третий жертвует другими и собой.

Остальные созданы для кнута.

Будем остерегаться народа, здравого смысла, сердца, вдохновения и очевидности.[122]

XXVII

Меня всегда удивляло, как это женщинам дозволено входить в церковь. О чем им толковать с Богом?[123]

Вечная Венера (каприз, истерия, фантазия) есть одна из соблазнительных личин дьявола.

Когда молодой писатель правит первую в жизни корректуру, он горд, словно школяр, впервые подцепивший сифилис.

Не забыть бы уделить обширную главу искусству гадания по воде, на картах, по линиям руки и т. д.

Женщина не умеет отделить душу от тела. Она примитивна, как животные. Сатирик объяснил бы это тем, что у нее нет ничего, кроме тела.

Глава об *искусстве прихорашиваться*.

Нравственная ценность этого искусства. Блаженство украшать себя.[124]

XXVIII

О напыщенности.

Учители

Судьи
Священники
и министры.
Хороши нынешние знаменитости.
Ренан.
Фейдо.
Октав Фейе.
Шолль.[125]

Издатели газет, Франсуа, Бюлоз, Уссе, Руи, Жирарден, Тексье, де Калонн, Солар, Тюрган, Даллоз.[126]

— Список мерзавцев. Солар — самый главный.

Быть великим и святым *ради самого себя* — только это и идет в счет.

XXIX

Надар[127] — удивительнейшее воплощение живучести. Адриен рассказывал мне, будто у его брата Феликса двойное количество всех внутренних органов. Я завидовал, глядя, как легко ему дается все, что не связано с отвлеченными вопросами.

Вейо[128] так груб и так враждебен искусству, что можно подумать, будто в его груди нашла себе приют вся мировая *Демократия*.

Развитие портрета.

Главенство голой идеи — и у христианина, и у коммуниста бабёфовского толка.

Фантазия смирения. Даже и не стремиться постичь нашу Религию.

Музыка.

О рабстве.

Светские женщины.

Девки.

Судейские.

Таинства.

Литератор — враг общества.

Бюрократы.

XXX

В любви, как почти во всех делах человеческих, сердечное согласие рождается из недоразумения. Недоразумение это берет свое начало в удовольствии. Мужчина вопиет: «Ах! Мой ангел!» Женщина воркует: «Маменька! Маменька!» И оба эти олуха убеждены, что думают об одном и том же. Непреодолимая бездна, создающая эту взаимонепостижимость, так и остается непреодоленной.

Почему вид моря доставляет нам такое бесконечное и неизбывное удовольствие?

Потому что море наводит на мысли о необъятности и движении. Шесть-семь лье кажутся человеку лучом бесконечности. Вот она, бесконечность, пусть и в миниатюре. Что за беда, коль скоро этого довольно, чтобы намекнуть на идею полной бесконечности? Двенадцати-четырнадцати лье (в диаметре), двенадцати-четырнадцати лье зыблющейся воды довольно, чтобы создать самое полное представление о прекрасном, какое доступно человеку в его временном пристанище.

XXXI

Кроме религий, на земле нет ничего поистине увлекательного.

Что такое всеобщая Религия? (Шатобриан, де Местр, александрийцы, Капе.[129])

Существует Всеобщая религия, созданная для алхимиков Мысли, религия, источаемая человеком, если его рассматривать как некое напоминание о Божестве.

Сен-Марк Жирарден произнес слова, которые останутся: *Будем заурядны.*[130]

Сопоставим это с изречением Робеспьера: те, которые не верят, что по природе своей бессмертны, сами выносят себе приговор.

В словах Сен-Марка Ж⟨ирардена⟩ проступает необоримая ненависть к возвышенному.

Кто видел, как С⟨ен⟩-М⟨арк⟩ Ж⟨ирарден⟩ идет по улице, тому немедленно приходит на ум мысль о жирном, до безумия самовлюбленном гусаке, испуганно бегущем по дороге перед самым дилижансом.

XXXII

Теория истинной цивилизации.

Цивилизация — это не газ, не пар, не вращающиеся столы, это сглаживание следов первородного греха.[131]

Племена кочевников, пастухов, охотников, земледельцев и даже людоедов — все они энергией своей и чувством собственного достоинства могут превосходить наши западные народы.

Эти последние, быть может, будут уничтожены.

Теократия и коммунизм.

Я рос отчасти благодаря досугу.

Это нанесло мне огромный ущерб: если не располагаешь состоянием, досуг множит долги и унижения, к которым приводят долги.

Но и принесло огромную пользу, если иметь в виду чувствительность, способность размышлять и склонность к дендизму и дилетантизму.

Прочие литераторы в большинстве своем — крайне невежественные тупые батраки.

XXXIII

Молодая девица в представлении издателей.

Молодая девица в представлении главных редакторов.

Молодая девица как пугало, чудовище, убийца искусства.

Молодая девица как она есть на самом деле.

Дурочка и шлюшка; величайшая тупость в соединении с величайшим распутством.

В молодой девице сочетается вся пакостность уличного хулигана и лицеиста.

Предостережение тем, кто не состоит в коммунистах:

Даже Бог принадлежит всем, не говоря уж о прочем.

XXXIV

Француз — животное, обитающее на скотном дворе и настолько одомашненное, что любой забор для него — неодолимая преграда. Взять хотя бы его художественные и литературные вкусы!

Это животное латинской породы; нечистоты не мешают ему ни в доме, ни в литературе — он скатофаг. Он обожает испражнения.[132] Литераторы из кофеен называют это *галльским остроумием*.

Прекрасный пример низости французов — нации, утверждающей, будто она сделалась независимой раньше всех остальных.

Нижеследующий отрывок из прекрасной книги г-на де Волабеля[133] вполне даст представление о том, какое воздействие на наименее просвещенную часть партии роялистов произвел побег Лавалетта:

«Во время второй Реставрации горячность роялистов доходила, можно сказать, до безумия. Юная Жозефина де Лавалетт воспитывалась в одном из наиболее влиятельных парижских монастырей (в аббатстве Обуа); из монастыря она отлучалась лишь для свиданий с отцом. Когда она вернулась туда после побега и когда стало известно о той, впрочем, скромной роли, которую она сыграла в этом деле, на девочку обрушилась буря негодования; монашки и подруги шарахались от нее, а многие родители объявили, что заберут дочерей, если ее оставят в монастыре. Они твердили, что не желают оставлять своих чад в такой близости к молодой особе, которая вела себя подобным образом и подала им подобный пример. Когда спустя шесть недель г-жа де Лавалетт получила свободу, ей пришлось взять свою дочь домой».

XXXV

Государи и поколения

Равно несправедливо приписывать государям, стоящим у кормила, как добродетели, так и пороки, свойственные народу, которым они правят.

Как показывает статистика, да и логика, эти добродетели и пороки всегда берут свое начало в предшествующем правлении.

Людовику XIV достались в наследство люди эпохи Людовика XIII. Слава.

Наполеону I достались в наследство люди эпохи Республики. Слава.

Луи-Филиппу достались в наследство люди эпохи Карла X. Слава.

Наполеону III достались люди эпохи Луи-Филиппа. Бесчестье.

Предшествующее правительство всегда в ответе за нравы эпохи последующего, насколько вообще правительство может отвечать за что бы то ни было.

Из-за резких сломов, которые волею обстоятельств происходят порою в образе правления государства, закон этот действителен отнюдь не во все времена. Невозможно с точностью отметить, когда сходит на нет то или иное влияние, — но целое поколение, смолоду подпавшее под его власть, так до конца от него и не избавится.

XXXVI

Ненависть молодежи к любителям цитат. Того, кто постоянно приводит цитаты, молодые считают врагом.

Я бы и орфографию отдал в руки палача (Т. Готье).[134]

Запечатлеть прекраснейшую картину: Литературная Сволочь.

Не позабыть портрет Форга,[135] пирата, литературного флибустьера.

В сердце человека непобедима тяга к блуду, от которой берет начало его ужас перед одиночеством. Человек хочет быть *вдвоем*. Гений хочет остаться один, то есть стремится к одиночеству.

Слава означает возможность остаться одному и блудить совсем не так, как другие.

Это отвращение к одиночеству, эту потребность забыть свое «я» с помощью чужой плоти человек высокопарно именует *потребностью любить*.

Два премилых культа, неистребимое украшение стен, вечная одержимость народа: мужской член (античный фаллос) — и «Да здравствует Барбес!», или «Долой Луи Филиппа!», или «Да здравствует Республика!»[136]

XXXVII

На примере всех способов и систем, всех творений природы и всех творений человека изучить всеобщий и вечный закон градации, *постепенности, неспешного продвижения вперед*, при котором сила все нарастает, как сложные проценты в финансовом деле.

То же самое с *литературной и художественной сноровкой*, то же самое с изменчивым сокровищем воли.

На похоронах толкотня мелких литераторов, которые ко всем набиваются с рукопожатиями и спешат представиться газетчику, ведущему светскую хронику.

О похоронах знаменитостей.[137]

Мольер. «Тартюф», по-моему, не комедия, а памфлет. Любому атеисту, если он человек более или менее воспитанный, сразу придет на ум по поводу этой пьесы, что некоторые вопросы слишком серьезны, чтобы выставлять их на потеху черни.

XXXVIII

Восславить культ изображений (моя великая, единственная, изначальная страсть).[138]

Восславить бродяжничество и все, что можно было бы назвать цыганщиной: культ обостренной впечатлительности, находящей выражение в музыке. Сослаться на Листа.[139]

О необходимости бить женщин.

Кого любишь, того можно и наказать. То же самое с детьми. Но вместе с тем всегда мучаешься, испытывая презрение к тому, кого любишь.

О рогах и рогоносцах.

Страдание рогоносца.

Оно порождено его гордыней, ложными представлениями о чести и счастье и любовью, которую человек в неразумии своем переносит с Бога на Его создания.

Вечная история: обожающая тварь ошибается в кумире.

Анализ заносчивой тупости, Клеман де Рис и Поль Периньон.[140]

XXXIX

Чем больше люди занимаются искусством, тем меньше в них похоти.

Разрыв между разумом и животным началом сказывается все сильнее.

Только животному ведома настоящая похоть, а соитие — это поэзия для простолюдинов.

Совокупляться — значит стремиться к проникновению в другого, а художник никогда не выходит за пределы самого себя.

Я позабыл имя той потаскухи. Да что уж там! Припомню на Страшном суде.

Музыка дает нам понятие о пространстве.

В большей или меньшей степени то же с любым другим искусством: все они суть числа, а число — это истолкование пространства.

День за днем стремиться быть величайшим из людей!!!

В детстве я хотел быть то папой — но только папой военным, — то актером.[141]

Наслаждение, которое я испытывал от этих двух галлюцинаций.

XL

Совсем еще ребенком я питал в своем сердце два противоречивых чувства — ужас перед жизнью и восторг жизни.

Весьма характерный пример чувствительного лентяя.

Нации производят на свет великих людей только против собственной воли.

К вопросу об актере и о моих детских мечтах — главу о том, что значит для души человеческой живущее в ней актерское призвание, актерская слава, жизнь актера и его положение в обществе.

Теория Легуве. Кто такой Легуве — холодный насмешник, новый Свифт, пытавшийся скормить Франции очередную бессмыслицу?

Его выбор. Верный в том смысле, в каком Сансон — не актер.[142]

Об истинном величии отверженных.

Возможно даже, что у отверженных добродетель идет во вред таланту.

XLI

Коммерция по сути своей дело *сатанинское.*

Заниматься коммерцией — значит давать деньги в рост, ссужать ими, подразумевая: *верни мне больше, чем я тебе дал.*

— Образ мыслей любого коммерсанта насквозь порочен.

— Коммерция *естественна, следовательно, гнусна.*

— Изо всех коммерсантов наименее гнусен тот, кто говорит: «Будем добродетельны, чтобы зарабатывать гораздо больше денег, чем глупцы, которые порочны».

— Для коммерсанта даже честность — это расчет, основанный на страсти к наживе.

— Коммерция — сатанинское дело, ибо это одна из форм эгоизма, притом самая низменная и подлая.

Когда Иисус Христос говорит: «Блаженны алчущие, ибо они насытятся», — Он опирается на теорию вероятностей.

XLII

В мире все идет по заведенному порядку лишь в силу Недоразумения.

— Только по всеобъемлющему Недоразумению существует согласие между людьми.

— А если бы, паче чаяния, каждый понял себя и другого, всякому согласию пришел бы конец.

Мыслящему человеку, который никогда и ни с кем не согласится, следует приложить все усилия к тому, чтобы полюбить разговоры глупцов и чтение скверных книг. Из того и другого он извлечет горестное удовольствие, которое с лихвой вознаградит его за усталость.

Какой-нибудь чиновник, министр, директор театра или издатель газеты может порой быть вполне почтенным человеком, но любой из них напрочь лишен искры Божией. Это лица, а не личности, в них нет ничего самобытного, они рождены для исполнения своей роли, то есть для прислуживания всем и каждому в общественных местах.

XLIII

Бог и Его глубина.

Нельзя же настолько не иметь здравого смысла, чтобы искать в Боге сообщника и друга, которого нам всегда так недостает. Бог — вечный наперсник в той трагедии, в которой каждый из нас играет героя. Возможно, ростовщики и убийцы обращаются к Богу со словами: «Господи, сделай так, чтобы мне удалось задуманное!»[143] Но молитва этих негодяев не пятнает моей молитвы и не портит радости, которую она мне дарит.

Любая идея по сути своей обладает даром жизни вечной, как любой человек.

Любое творение, имеющее форму, даже если оно создано человеком, бессмертно. Ибо форма не зависит от материи и состоит она не из молекул.[144]

Анекдоты об Эмиле Дуэ[145] и Константине Гисе, разрушающие — или, вернее, претендующие на то, что разрушают их творения.

XLIV

Какую газету ни прогляди, за какой угодно день, месяц, год — непременно наткнешься на каждой строчке на свидетельства самой чудовищной людской испорченности, соседствующие с самым поразительным бахвальством собственной честностью, добротой, милосердием, а также с самыми бесстыдными декларациями касательно прогресса и цивилизации.

Что ни газета, от первой строчки до последней — сплошь нагромождение мерзостей. Войны, кровопролития, кражи, непристойности, истязания, преступления властителей, преступления народов, преступления частных лиц, упоение всеобщей жестокостью.

И вот этим-то омерзительным аперитивом ежеутренне сдабривает свой завтрак цивилизованный человек.

В нынешнем мире все сочится преступлением — газета, стена, лицо человеческое.

Не представляю себе, как можно дотронуться до газеты чистыми руками, не передернувшись от гадливости.

XLV

Сила амулета наглядно доказана философией. Монеты с отверстиями, талисманы, памятные вещицы, какие есть у каждого.

Трактат о Нравственной динамике. О силе, скрытой в Таинствах.

С самого детства у меня склонность к мистицизму. Мои разговоры с Богом.

О Наваждении, Одержимости, молитве и Вере.

Нравственная динамика Иисуса.

(Ренану представляется смехотворным, что Иисус признает могущество — и даже материальное — Молитвы и Веры.[146])

Таинства — способы воплощения этой Динамики.

О подлости типографского дела — великого препятствия на пути к развитию Прекрасного.

Ну и затея — истребление еврейского рода!

Евреи — *хранители Книг и свидетели Искупления.*

XLVI

Все эти тупые буржуа, без конца твердящие слова: «безнравственно, безнравственность, нравственное искусство» и другие глупости, напоминают мне Луизу Вильдье, шлюху ценой в пять франков, которая однажды за компанию со мной отправилась в Лувр, где никогда прежде не была, и там принялась краснеть, прикрывать лицо руками и, поминутно дергая меня за рукав, вопрошала перед бессмертными статуями и полотнами: да разве можно выставлять на всеобщее обозрение такие неприличности?

Фиговые листки сьёра Ньеверкерке.[147]

XLVII

Прогресс лишь тогда обретет силу закона, когда все без изъятия захотят, чтобы подобный закон появился; иначе говоря, пускай каждый человек порадеет о прогрессе — тогда и только тогда человечество начнет прогрессировать.

Этой гипотезой можно воспользоваться, чтобы объяснить тождество двух противоречивых понятий — свободы и предопределенности. Свобода и предопределенность не только окажутся тождественны как условия прогресса — они были тождественны всегда. Их тождество воплощено в *истории*, в истории народов и отдельных людей.

XLVIII

Сонет, который нужно процитировать в «Моем сердце».

Кроме того, процитировать также стихотворение «Роланд».[148]

Филлида снилась мне — по-прежнему прекрасна.
Все так же влюблена, как в бытности земной;
Виденье жаждало слияния со мной,
Но, словно Иксион, я пар ловил напрасно.
И тень в мою постель скользнула сладострастно,
Шепча: «Я вновь с тобой, Тирсис мой дорогой!
Я сберегла красу в юдоли роковой,
Где, разлученная с тобой, скорблю всечасно.
Я здесь, чтоб лучшего любовника узреть,
В твоих объятиях еще раз умереть!» —
И, лаской утолив мой пламень до предела,
Сказала мне: «Прощай! Аид меня позвал;
Гордился прежде ты, мое лобзая тело,
Теперь гордись вдвойне: ты душу лобызал».*

По-моему, этот сонет принадлежит Менару.

Малласси утверждает, что автор Ракан.[149]

АЛЬБОМНЫЕ МЫСЛИ

[В альбом Филоксена Буайе:[150]]

Среди прав, о коих толковали в последнее время, есть одно позабытое, а между тем в его провозглашении заинтересованы решительно все, — это право себе противоречить.

[В альбом Надара:]

[следует за девизом Vitam impendere vero,** под которым подпись: Луи Блан.[151]]

Я знаю троих, взявших себе этот девиз: Жан-Жака, Луи Блана и Жорж Санд.[152] Жозеф де Местр где-то ска-

---

* Сонет Теофиля де Вио. — *Пер. Майи Квятковской.*

** Отдать жизнь за правду (*лат.*).

зал (по-моему, в «Размышлениях о Франции»): «Если писатель избирает для себя девизом Vitam impendere vero, смело можно биться об заклад, что он враль».

[В альбом Эдуара Гарде:[153]]

Не правда ли, дражайший Гарде, румяна сами по себе превосходная штука: они преображают и приукрашивают природу, да к тому же еще и понуждают нас целовать дам не в лицо, а в прочие места. Уверен, что не оскорблю этими словами вас, мой друг, полагающий так же, как я, что блюсти собственное достоинство необходимо во всех случаях, кроме как с любезной сердцу бабенкой.

Ш. Бодлер

АФОРИЗМЫ

[В блокноте Асселино]

Если торгаш не мошенник, он просто-напросто дикарь.

Педерастия — единственное звено, связующее судебное ведомство с человечеством.

Стоицизм — религия, признающая лишь одно таинство: самоубийство.

Воздержанность — мать чревоугодия: она его опора и советчица.

Всякий кот — слащавый вурдалак. Нелепица — благодать усталых людей.

Если бы Иисус Христос во второй раз сошел на землю, г-н Фран-Карре[154] сказал бы: мы столкнулись с рецидивом.

Пукни кто-нибудь прямо в нос г-ну Абу,[155] он сочтет, что в этом заложена некая идея.

Если религия исчезнет в мире — она отыщется в сердце атеиста.

Ничто не докажет мне тщеты добродетели убедительней, чем пример Ламадлена.[156]

Узнать — значит войти в противоречие с самим собой; иной раз логические выводы столь безупречны, что превращаются в прямую ложь (Кюстин): излюбленная фраза Бодлера.

[На наброске интервью Надара:]

Неизбежное следствие всякой революции — массовые убийства невинных.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

ДЕТСТВО: старая мебель в стиле Людовика XVI, античности, Консульства; пастели, общество из восемнадцатого века.

После 1830 года — коллеж в Лионе, тумаки, битвы с учителями и товарищами, тяжкое уныние.

Возвращение в Париж, коллеж; воспитание под руководством отчима (генерала Опика).

ЮНОСТЬ

Исключение из коллежа Людовика Великого, история с экзаменом на степень бакалавра.

Путешествие в Пиренеи вместе с отчимом.

Привольная жизнь в Париже, первые литературные связи: Урлиак, Жерар, Бальзак, Ле Вавассер, Делатуш.

Путешествия в Индию: первое приключение, корабль лишается мачт; Маврикий, остров Бурбон, Малабар, Цейлон, Индустан, Капская колония (Кейптаун); блаженные прогулки.

Второе приключение:

возвращение на судне без провианта и кораблекрушение.

Возвращение в Париж; новые литературные связи: Сент-Бёв, Гюго, Готье, Эскирос.[157]

Очень долгие и тяжкие усилия заставить какого-нибудь издателя газеты меня понять.

Постоянная тяга с детства ко всем произведениям изобразительного искусства.

Одновременное углубление в философию и в прекрасное в прозе и поэзии; вечная, ежесекундная связь идеала с жизнью.

КОММЕНТАРИИ

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ (ПАРИЖСКИЙ СПЛИН)

Над «Стихотворениями в прозе» Бодлер работал последние десять лет жизни. Вообще говоря, Бодлер не создал жанр «poème en prose» на пустом месте, а осмыслил его и канонизировал. Среди предшественников Бодлера в этой области — Жюльен Сорель, Фенелон, Альфонс Рабб, Морис де Герен и, конечно, Алоизиюс Бертран, на которого ссылается сам Бодлер в предисловии-посвящении. Этот жанр, немыслимый в классицизме с его четким отделением стихов от прозы, восходит к тем временам, когда слово *стихи* (poème) означало примерно то же, что *эпопея*. «Однако, — пишет французский исследователь М. Рюфф, — именно Бодлер раскрыл возможности ⟨этого жанра⟩, показал его истинный характер и тем самым открыл дорогу свободе в современной поэзии».

При жизни Бодлера «Стихотворения в прозе» не публиковались одной книгой. В последние годы он мечтал о полном собрании своих произведений, куда помимо стихов должны были войти и стихотворения в прозе, и критические статьи. Но ему не удалось заинтересовать издателей этой идеей. Ее осуществили друзья Бодлера, писатель и библиофил Шарль Асселино (1821—1874) и поэт Теодор де Банвиль (1823—1891), издав такое собрание сочинений в 1868—1870 годах, уже после смерти автора, в издательстве «Michel Levy frères». Небесспорное в некоторых разделах, в отношении «Парижского сплина» это издание представляется почти безупречным и служит основой всех последующих изданий.

Название «Парижский сплин» в черновиках и письмах Бодлера встречается чаще всего из пяти или шести возможных вариантов, которые он перебирал, думая, как озаглавить книгу стихотворений в прозе. Большинству французских публикаторов представляется наиболее достоверным заглавие «Стихо-

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ (ПАРИЖСКИЙ СПЛИН)

Над «Стихотворениями в прозе» Бодлер работал последние десять лет жизни. Вообще говоря, Бодлер не создал жанр «poème en prose» на пустом месте, а осмыслил его и канонизировал. Среди предшественников Бодлера в этой области — Жюльен Сорель, Фенелон, Альфонс Рабб, Морис де Герен и, конечно, Алоизиюс Бертран, на которого ссылается сам Бодлер в предисловии-посвящении. Этот жанр, немыслимый в классицизме с его четким отделением стихов от прозы, восходит к тем временам, когда слово *стихи* (poème) означало примерно то же, что *эпопея*. «Однако, — пишет французский исследователь М. Рюфф, — именно Бодлер раскрыл возможности ⟨этого жанра⟩, показал его истинный характер и тем самым открыл дорогу свободе в современной поэзии».

При жизни Бодлера «Стихотворения в прозе» не публиковались одной книгой. В последние годы он мечтал о полном собрании своих произведений, куда помимо стихов должны были войти и стихотворения в прозе, и критические статьи. Но ему не удалось заинтересовать издателей этой идеей. Ее осуществили друзья Бодлера, писатель и библиофил Шарль Асселино (1821—1874) и поэт Теодор де Банвиль (1823—1891), издав такое собрание сочинений в 1868—1870 годах, уже после смерти автора, в издательстве «Michel Levy frères». Небесспорное в некоторых разделах, в отношении «Парижского сплина» это издание представляется почти безупречным и служит основой всех последующих изданий.

Название «Парижский сплин» в черновиках и письмах Бодлера встречается чаще всего из пяти или шести возможных вариантов, которые он перебирал, думая, как озаглавить книгу стихотворений в прозе. Большинству французских публикаторов представляется наиболее достоверным заглавие «Стихо-

творения в прозе», под которым Бодлер собственной рукой составил список текстов в том порядке, в каком они с тех пор публикуются. Тем не менее иногда — в том числе в таком авторитетном издании, как «Плеяда», — книга хранит заглавие «Парижский сплин», значившее для автора и его читателей очень много. Дело в том, что до Бодлера Париж по преимуществу *описывали* (Луи Себастьен Мерсье в своих «Парижских картинах», Ретиф де ла Бретон в «Парижских ночах»). Бодлер впервые назвал Париж «бездной, поглотившей свою жертву» (под жертвой разумея художника Шарля Мериона). С Марионом (1821—1898), уже тогда проявлявшим признаки душевной болезни, Бодлер познакомился в 1859 году, и тогда же у них возник замысел совместного издания, в котором бы поэт сопроводил несколько «парижских офортов» художника своими текстами. В 1860 году Бодлер пишет своему другу и издателю Огюсту Пуле-Маласси (1825—1878): «...вот повод написать фантазии строк на десять, двадцать, тридцать, по прекрасным гравюрам, по философским фантазиям парижского праздношатающегося». Этот замысел не осуществился, но отразился в сборнике стихотворений в прозе, посвященных Парижу. Важно и то, что на глазах у Бодлера город перестраивался по проекту барона Османна, менял свой облик, и тот Париж, что был знаком поэту с юности, бесследно исчезал. А новый предмет описания требовал и новых выразительных средств.

По поводу стоящего в заглавии книги слова «сплин» французский исследователь Ги Сань замечает, что слово это вошло во французский язык с XVIII века; характерно, что Дидро еще считает нужным объяснить его значение. Впоследствии им злоупотребляли малые романтики. И все же для современного читателя оно прочно связано с Бодлером; существует устойчивое словосочетание «бодлеровский сплин» (как в русской литературе — «лишний человек»). Для француза XIX века происхождение этого слова было двойственным — и этимологическим, и географическим. Изначально слово «сплин» — греческого происхождения (от греч. «селезенка») и означало «органическое нарушение»; в XVI веке бытовал латинский термин *melancholia splenica*. Но к 1830 году изначальный смысл слова забылся. Зато у него появилось второе происхождение, английское. Теперь в это понятие входит и английский ненастный климат, и английская хандра. Великие романтики (Мюссе, Виньи, отчасти Гюго) высмеивают «сплин» как расхожий штамп. Однако Бодлер дает новую жизнь этому скомпрометированному слову и учитывает разные его оттенки. В «Цветах зла» он группирует четыре стихотворения «Сплин» в

последней части раздела «Сплин и идеал», то есть среди текстов, напоминающих романтические гравюры.

Перевод «Парижского сплина» выполнен по изданию: *Baudelaire.* Petits Poèmes en prose. Édition établie par Robert Kopp. Paris, 1973. В комментариях учтены также издания: *Baudelaire.* Oeuvres complètes en 2 volumes. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Gallimard, 1975; *Baudelaire.* Oeuvres complètes. Préface, présentation et notes de Marcel A. Ruff. Éditions du Seuil, 1968; *Алоизиюс Бертран.* Гаспар из тьмы (Комментарий Ю. Стефанова). М., 1981; *Шарль Бодлер.* Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники (Комментарий к Стихотворениям в прозе А. Гиривенко). М., 1993. В тех случаях, когда это не оговорено особо, переводы цитат выполнены комментатором.

Арсену Уссе.

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

[1] Поэт и журналист *Арсен Уссе* (1814—1896) в то время возглавлял литературный отдел газеты «Ла Пресс», где были напечатаны двадцать стихотворений в прозе Бодлера. Первым наброском этого посвящения послужило письмо Бодлера к А. Уссе, датированное «Рождество, 1861»; приводим начало этого письма: «Вы, что с таким беспечным видом так хорошо умеете занять свой день, найдете несколько минут, чтобы пробежать глазами образчик стихотворений в прозе, который я вам посылаю. Уже долго я пытаюсь сделать нечто в этом роде и намерен посвятить свою попытку вам. В конце месяца передам вам все, что уже готово (может быть, лучше прозвучит заголовок вроде «Одинокий праздношатающийся, или Парижский бродяга»). Вы будете снисходительны, потому что сами предпринимали попытки в подобном духе и знаете, как это трудно, — причем труднее всего избежать впечатления, что показываешь план вещи, которую предстоит изложить стихами...»

[2] Бодлер обосновывает *эстетику фрагментарности*, чрезвычайно важную в романтизме, переосмысляя образ, заимствованный у Гюго и Сент-Бёва. Ср.:

> Топор живьем рассек на множество кусков
> Лоснящееся тело...
> Вот так рассечены ударом топора
> И жизнь твоя, и думы...

(*Гюго В.* Обрубки змеи // Сб. «Восточные мотивы», 1829)

А сердца бедного разбитые обломки
Вдруг зашевелятся в груди со стоном громким,
Стремясь опять срастись, — так кольца вьют свои,
Сплетаясь в ком, куски разрубленной змеи.

(*Сент-Бёв Ш.* На закате юности (Моему другу ***) // Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма / Пер. И. Я. Шафаренко. Л., 1986. С. 100)

Одновременно Бодлер как бы солидаризируется с авторами популярных романов с продолжением, так называемых романов-фельетонов, вступая в полемику с поэтом и романистом Анри де Латушем, который в предисловии к своему сборнику стихов «Adieux» (1843), ратуя за высокое искусство, осуждает новый тип писателя, тех, кто «соглашается нарубить свою душу на обрезки змеи, которые невозможно воссоединить, лишь бы поскорей получить гонорар», то есть кто согласен печатать свои произведения по частям в газетах.

[3] *Алоизиюс Бертран* (1807—1841) — французский романтический поэт. Сборник его стихотворений в прозе «Гаспар из тьмы, или Фантазии в манере Рембрандта и Калло» был издан посмертно в 1842 году с предисловием Сент-Бёва. Бодлер был одним из первых читателей этого произведения.

[4] Здесь, как показал французский исследователь Робер Копп, Бодлер подхватывает слова самого Уссе из статьи «Искусство и поэзия», сопровождающей его сборник «Полное собрание стихотворений» (1850): «Он так восстал против ветоши рифм, что сперва в некоторых своих античных стихотворениях захотел подновить их выцветшие плюмажи, а потом осмелился творить в первобытных ритмах, без рифмы, без стиха, поэтической прозой, как в „Сиренах“ и „Песне стекольщика“».

[5] Длинная, вялая и сентиментальная «Песня стекольщика» Уссе, вопреки лестному отзыву Бодлера, во всем уступает его собственным текстам, в том числе и перекликающемуся с ней стихотворению «Скверный стекольщик».

I. Чужак

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

II. Отчаяние старухи

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

III. Confiteor художника

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

IV. Шутник

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

Как источник этого стихотворения можно указать эпизод из книги английского писателя Лоренса Стерна, где рассказчик описывает свою встречу с ослом: «...я достал только что купленный кулек с миндальным печеньем и дал ему одно, — но теперь, когда я об этом рассказываю, сердце укоряет меня за то, что в затее моей было больше желания позабавиться и посмотреть, как осел будет есть печенье, нежели подлинного участия к нему» (*Стерн Л.* Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена / Пер. и примеч. А. А. Франковского. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 510).

V. Двусмысленная комната

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

Это стихотворение, в котором прямо обозначена тема наркотика (склянка с опиумом), перекликается с эссе Бодлера «Поэма о гашише», особенно с главой IV «Человек-бог», где сходным образом описываются видения наркомана. Сам Бодлер приобщился к гашишу в 1845 году в обществе литераторов и художников, собиравшихся в отеле «Пимодан»; среди них был друг Бодлера Т. Готье, описавший свои ощущения в новелле «Клуб любителей гашиша» (1846), в которой можно усмотреть параллели с этим и некоторыми другими текстами Бодлера.

[6] Ср. «Клуб любителей гашиша» Готье: «Время умерло... Больше уже не будет ни годов, ни месяцев, ни часов. Время умерло, и мы должны его похоронить» (*Готье Т.* Два актера на одну роль / Пер. А. Перхуровой. М., 1991. С. 263).

[7] Имеется в виду Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848), в автобиографических «Замогильных записках» создавший образ сильфиды — одновременно музы и любимой женщины. Ср.: «Край этот и поныне сохранил свой первозданный облик, изрезанный лесистыми рвами, он издали кажется густой дубравой и напоминает Англию: прежде здесь жили феи, а я, как вы увидите, повстречал здесь свою сильфиду» (*Шатобриан.* Замогильные записки / Пер. О. Гринберг и В. Мильчиной. М., 1995. С. 37).

[8] Еще одна реминисценция из «Клуба любителей гашиша» Готье; ср.: «Аллилуйя, время воскресло! Посмотри-ка на часы!..» (*Готье Т.* Два актера на одну роль. С. 264).

VI. Каждому своя химера

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862, под заголовком «Каждому своя».

Возможно, тему этого стихотворения подсказал Бодлеру офорт № 42 Гойи «Ты, которому невмоготу...» из серии «Капричос», изображающий двух мужчин, несущих на спине чудовищных ослов с получеловечьими головами.

VII. Шут и Венера

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

VIII. Пес и флакон

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

IX. Скверный стекольщик

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

Это стихотворение во многом способствовало упрочению легенды о Бодлере — пропагандисте зла; автора нередко отождествляли с фигурой рассказчика. Позже оно не раз служило толчком к углубленным штудиям бодлеровской истерии. Между тем скорее его следует понимать как ироническую реакцию на дешевую филантропию А. Уссе (см. примеч. к посвящению) и отдаленную параллель с правдивым рассказом о дурном и постыдном поступке в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо.

[9] Ср. у Руссо (который так же, как Бодлер, был робким и застенчивым человеком): «Приближаюсь к лавке пирожника, вижу женщин за прилавком; мне уже кажется, что они перемигиваются и издеваются над маленьким лакомкой. Прохожу мимо торговки фруктами, искоса поглядывая на прекрасные груши, — их аромат соблазняет меня, но какие-то молодые люди поблизости глядят на меня... Все меня смущает, всюду передо мной встает какое-нибудь препятствие...» (*Руссо Ж.-Ж.* Избранные сочинения: В 3-х т. М., 1961.Т. 3. С. 38). Строки Бодлера, близкие к его записи в «Дневниках» (Фейерверки, VI), отсылают нас к Руссо и тем самым — к теме исповеди.

[10] В греческой мифологии *Минос*, *Эак* и *Радамант* — трое судей подземного царства.

X. В час ночи

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

[11] Это выражение, несколько раз употребленное Бодлером в «Искусственном рае», заимствовано у Томаса Де Квинси (1785—1859), английского писателя-романтика.

XI. Дикая женщина и щеголиха

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

«Дикая женщина» была одной из диковин, которые часто показывали на ярмарках; об этом сохранилось множество свидетельств и упоминаний.

[12] Почти дословная цитата из басни Лафонтена «Лягушки, просящие царя», где Юпитер в ответ на просьбы лягушек о царе сперва послал им чурбан, а когда они отказались от такого ленивого правителя, заменил его на журавля; басня Лафонтена, в свою очередь, восходит к одноименной басне Эзопа — там Зевс вместо чурбана дал лягушкам в правители водяную змею, «которая стала их хватать и пожирать».

XII. Толпы

Впервые — в журнале «Ревю фантезист», 1861.

Тема этого стихотворения, возможно, заимствована из новеллы Э. По «Человек толпы» (1840).

[13] Эти свойства были, несомненно, присущи самому Бодлеру.

XIII. Вдовы

Впервые — в журнале «Ревю фантезист», 1861.

Ср. стихотворение «Старушки» («Цветы зла»).

[14] *Вовенарг*, Люк де Клапье де (1715—1747) — французский писатель-моралист, чей фрагмент «О потаенной нищете» из «Размышлений на разные темы» послужил отправным пунктом стихотворению Бодлера. Ср. у Вовенарга: «Что до меня, стоит мне войти в Люксембургский сад и в другие общественные сады, как меня обступает глухая нищета, гнетущая людей,

и разные приметы уведомляют и твердят о неведомых мне катастрофах. Пока в главной аллее толпится и волнуется толпа равнодушных мужчин и женщин, на боковых дорожках я встречаю отверженных, избегающих глядеть на счастливчиков, — стариков, прячущих позор бедности, молодых людей, которых слава по ошибке держит в отдалении от их грез, женщин, которых закон необходимости обрек на позор, честолюбцев, собирающих, быть может, бесполезную отвагу, чтобы вырваться из безвестности». Общественный сад для Бодлера, как правило, прибежище разочарованных душ, островок природы в городской суете. Так, в новелле «Фанфарло» удрученная г-жа де Комелли приходит в Люксембургский сад.

XIV. Старый акробат

Впервые — в журнале «Ревю фантезист», 1861.

В эпоху романтизма фигура бродячего артиста была в центре внимания; Домье прославлял его в своих гравюрах; о бродячих акробатах писал и ценимый Бодлером Теодор де Банвиль. Приводим отрывок из рассказа Банвиля «Бедные акробаты» (1853), на который, вероятно, ориентировался Бодлер: «Бедные акробаты истощили все свое искусство, толпа рассеялась; им не подали ничего; они плакали. ⟨...⟩ Вот история, которую я придумал, — символ жизни артистов. ⟨...⟩ Ведь, скажите на милость, разве акробат — это не свободный, независимый артист, который творит чудеса ради куска хлеба, который поет на солнце и пляшет под звездами, не надеясь попасть в какую бы то ни было академию?»

[15] Имеются в виду цирковые клоуны, у которых парики повязаны красной лентой.

[16] *Жокриссы.* — Жокрисс и Жокрисса — персонажи старинных французских фарсов, сохранившиеся до XIX века в ярмарочных представлениях; легковерный дурачок и неизменная жертва обманов.

XV. Пирожное

Впервые — в газете «Ла Пресс», 1862.

[17] В этом стихотворении отражается память о путешествии в Пиренеи, которое совершил Бодлер вместе с отчимом в 1838 году.

[18] Имеется в виду, скорее всего, озеро Эскубу близ горной деревни Бареж в департаменте Верхние Пиренеи (Франция).

XVI. Часы

Впервые — в еженедельнике «Ле Презан», 1857.

[19] Миссионер этот — отец Эварист Режис Юк; источником данного стихотворения послужил эпизод, рассказанный им во 2-м томе его книги «Китайская империя» (1857).

[20] Имя *Фелина* — выдуманное, но напоминает Филис, Филомену, Селину и другие поэтические женские имена; происходит от французского слова *félin*, что означает «кошачий», «вкрадчивый» и даже «вероломный». Как отдаленную аналогию можно предложить русское имя Мура, Мурочка. Ж. Крепе сообщает о существовании экземпляра «Цветов зла», надписанных «Моей возлюбленной Фелине, Ш. Бодлер». Но кто была реальная Фелина — Жанна Дюваль, Мари Добрен или другая женщина, — неизвестно.

[21] Следует отметить близость к этим строкам известного стихотворения О. Мандельштама «Нет, не луна, а светлый циферблат...» из книги «Камень» (1908—1915):

> И Батюшкова мне противна спесь:
> Который час, его спросили здесь,
> А он ответил любопытным: вечность!

Рискнем предположить, что наряду с известным источником (дневник А. Дитриха) у этого стихотворения Мандельштама был и другой, также достаточно близкий русскому поэту. Известно, что в 1907 году Мандельштам впервые побывал в Париже и пережил сильное увлечение Бодлером.

XVII. Твои волосы — полмира

Впервые — в еженедельнике «Ле Презан», 1857.

Публикация этого текста вызвала издевательскую реакцию критики. Бульварный журналист Пьер Верон зубоскалил над ним в юмористической газетке: «Вообразим себе Бодлера в ресторане: „Официант! Скажите наконец повару, чтобы не ронял каждый вечер воспоминаний мне в суп!“»

XVIII. Приглашение к путешествию

Впервые — в еженедельнике «Ле Презан», 1857.

Тема этого стихотворения задана песней Миньоны из «Вильгельма Мейстера» Гёте, которая вскоре после создания отделилась от романа и несколько раз переводилась на французский язык. Бодлеру, несомненно, был известен перевод,

выполненный Т. Готье. Однако у Бодлера речь идет не об Италии, как у Гёте, а о северной стране, и эту трансформацию, возможно, также подсказал ему Готье, который в ранней поэме «Альбертус» (1832) писал:

А вы, художник и поэт, нас увлечете
Из мест, что зябнущей Миньоне в книжке Гёте
Так были памятны и полюбились нам,
Из мест, где золотой лимон на солнце зреет,
Где круглый год жасмин цветет и лавр темнеет, —
Прочь из Неаполя в туманный Амстердам.

[22] С XVIII века Голландия считалась в Европе чем-то вроде всемирного товарного склада и торгового центра.

[23] Имеется в виду немецкий композитор Вебер (1786—1826) и его знаменитое фортепианное рондо, позже вошедшее в оперу «Вольный стрелок» и в 1841 году переложенное для оркестра Берлиозом. Бодлер упоминает о «Вольном стрелке» Вебера и в стихотворении «Маяки», помещая его среди самых важных для себя эстетических ориентиров. В русской поэзии эта музыка присутствует благодаря Пушкину: «Или разыгранный Фрейшиц / Перстами робких учениц» («Евгений Онегин», гл. 3-я, строфа XXXI).

[24] Увлечение тюльпанами входит в стереотипный образ Голландии с XVII века; его отражали многие французские писатели, а Александр Дюма посвятил ему целый роман «Черный тюльпан» (1850).

[25] Это выражение, распространенное в годы Второй империи, означало погоню за несбыточным идеалом. Оно вошло в обиход благодаря популярной песенке Пьера Дюпона.

[26] Имеется в виду шведский ученый и теософ-мистик Эмануэль Сведенборг (1688—1772), автор мистического учения о соответствиях.

XIX. Игрушка бедняка

Впервые — в газете «Ла Пресс», 24 сентября 1862.

Этот текст извлечен из эссе Бодлера «Мораль игрушки» и с небольшими поправками переделан в стихотворение.

XX. Дары фей

Впервые — в газете «Ла Пресс», 24 сентября 1862.

XXI. Искушения, или Эрос, Плутос и слава

Впервые — в журнале «Ревю насьональ э этранжер», 20 июня 1863.

XXII. Вечерние сумерки

Впервые — в книге: Hommage a C. F. Denecourt, Fontainebleau: Paysages, légendes, Souvenirs, Fantaisies, Hachette, 1855.

Это и следующее стихотворения в прозе — первые, которые были отданы Бодлером в печать. Они были представлены в первоначальной редакции, значительно отличавшейся от окончательной. Приводим вариант 1855 года.

Вечерние сумерки

Наступление темноты всегда было для меня сигналом к внутреннему празднику и словно освобождением от тоски. И в лесу, и на улицах большого города помрачение дня и скопление звезд или фонарей озаряют светом мой разум.

Но у меня было двое друзей, которые в сумерки заболевали. Один из них забывал все требования дружбы и вежливости и, как дикарь, налетал на любого, кто попадался ему под руку. Я видел, как он швырнул в голову метрдотелю превосходного цыпленка, в котором усмотрел уж не знаю какой оскорбительный тайный намек. Наступление вечера портило ему вкус самых превосходных вещей.

Другой, по мере того как темнело, становился все язвительней, все мрачней, все насмешливей. Днем снисходительный, вечерами он делался безжалостным, причем его сумеречное безумство обрушивалось не только на других, но и на него самого.

Первый умер душевнобольным, не узнавая любовницы и детей; второй носит в себе сосущее чувство вечной неудовлетворенности. Ночь, озаряющая светом мой разум, помрачает их рассудок; и хотя не так уж редко одна и та же причина влечет за собой два противоположных следствия, меня это всегда как-то изумляет и озадачивает.

XXIII. Одиночество

См. примеч. к предыдущему тексту. Приводим первоначальный вариант 1855 года.

Тот, второй, говорил мне также, что одиночество вредно человеку, и ссылался, помнится, на слова Отцов Церкви.

Бесспорно: дух убийства и похоти прекрасно разгорается в одиночестве; дьявол посещает бесплодные земли.

Но это соблазнительное одиночество опасно лишь для пугливых и блуждающих душ, коими не управляет важная деятельная мысль. Оно не пошло во вред Робинзону Крузо, а сделало его набожным, храбрым, предприимчивым; одиночество очистило его, научило, как далеко может простираться сила личности.

И разве не заметил однажды Лабрюйер: «Великое несчастье тому, кто не может быть один»? Значит, одиночество — как сумерки: то хорошо, то дурно, то преступно, то спасительно, то наделено подстрекательной силой, то умиротворяющей.

Что до радостей, то прекраснейшие братские агапы, великолепнейшие сборища людей, наэлектризованных общим наслаждением, никогда не сравнятся с той радостью, которую испытывает Одинокий, единым взглядом вобравший в себя и постигший всю возвышенную красоту пейзажа. Этот взгляд наделил его бесспорным и неотъемлемым богатством.

[27] *Сантерр*, Клод (1752—1802) — пивовар, во время революции ставший генералом парижской национальной гвардии; приказал бить в барабаны во время казни Людовика XVI, чтобы никто не услышал последних слов короля.

[28] Бодлер не совсем точно цитирует начало 99-й главы «О человеке» из «Характеров» Лабрюйера. Ср.: «Вся наша беда в том, что мы не выносим одиночества. Отсюда — карты, роскошь, легкомыслие, вино, женщины, невежество, злословие, зависть, надругательство над своей душой и забвение Бога» (*Ларошфуко*. Мысли. Максимы. *Паскаль*. Мысли. *Лабрюйер*. Характеры / Пер. Ю. Корнеева и Э. Линецкой. М., 1974. С. 391).

[29] Бодлер не совсем точно цитирует начало фрагмента 205 из «Мыслей» Паскаля. Ср.: «Я нередко размышлял о том, какие треволнения, опасности и невзгоды подстерегают всех, кто живет при дворе или в военном лагере, где вечно зреют распри, дерзкие, а порою и преступные замыслы, бушуют страсти и т. д., и пришел к выводу, что главная беда человека — в его неспособности к спокойному существованию, к домоседству» (*Паскаль Б.* Мысли / Пер. Э. Линецкой. СПб., 1995. С. 89).

XXIV. Замыслы

Первая публикация — в еженедельнике «Ле Презан», 24 августа 1857.

В дальнейшем, для несостоявшейся публикации в «Ла Пресс» (начало октября 1862, корректура с правкой Бодлера), поэт внес в текст значительные изменения. Для сравнения приводим вариант 1857 года.

Замыслы

Как хороша бы ты была в придворном наряде, замысловатом и роскошном, спускаясь в теплый ясный вечер по мраморным ступеням дворца навстречу просторным лужайкам и водоемам!

Но к чему столь роскошные декорации? Безумец! Я забыл, что ненавижу королей и их дворцы! Нет, я хотел бы обладать тобой и наслаждаться твоей дружбой не во дворце. Там бы мы с ней не чувствовали себя *дома*! К тому же эти стены, тисненые, изукрашенные галуном, заносчивые, блестящие, как бравый вояка, напоминают душу Великого Короля, в которой нет укромного уголка для любимого существа. Здесь не бывает *воспоминаний*, на этих испещренных позолотой стенах я не вижу места хоть для одного гвоздя, на котором бы мог висеть твой портрет.

Ах, я хорошо знаю, где мог бы любить тебя бесконечно! В прекрасной деревянной хижине на берегу моря, утонувшей в тени листвы! В воздухе разлит запах кокосового масла, неописуемо благоухает мускус; на горизонте верхушки мачт — их баюкает неощутимая морская зыбь, и они медленно чертят кривые линии в воздухе; вокруг нас, за пределами безмолвной, сумрачной комнаты, полной цветов и циновок, уставленной немногими креслами в стиле португальского рококо, сделанными из пород деревьев, растущих на островах, в которых ты могла бы так сладостно, так беспечно отдыхать, покуривая табак с примесью опиума и сахара, а там, за пределами веранды, — гомон птиц и нежный стрекот маленьких негритянок...

Но нет! К чему эта пышная мизансцена? На нее ушло бы слишком много золота, а золото бренчит только в карманах у дураков, ничего не смыслящих в Прекрасном. Наслаждение здесь, в нескольких лье от меня. Оно в двух шагах отсюда, в первой попавшейся гостинице, к которой привел меня случай, — и эта гостиница сулит такую негу! Жаркий огонь, по стенам — яркий фаянс, сносный ужин, много вина и широчайшая кровать с жестковатыми, но свежими простынями.

...Мечта! Мечта! Вечно мечта, будь она проклята! — она убивает действие и пожирает время! Мечты на мгновение утешают алчного зверя, ворочающегося у нас внутри. Это та же отрава: она унимает зверя, но она и питает его.

Где бы найти такую глубокую чашу и такую густую отраву, чтобы утопить *Зверя*!

[30] *Казуарины* — деревья и кустарники, около 60 видов, произрастающие в Австралии, на Тасмании и островах Тихого океана.

XXV. Прекрасная Доротея

Впервые — в журнале «Ревю насьональ э этранжер», 10 июня 1863, с исправлениями издателя, на что Бодлер отреагировал письмом от 20 июня:

«Я же говорил вам: если в отрывке вас не устраивает *одна-единственная запятая*, не изымайте этой запятой, *изымите весь отрывок*, потому что ни одна запятая в нем не случайна.

Всю жизнь я учился строить фразу и могу сказать, не боясь показаться смешным: все, что я отдаю в печать, *безусловно завершено.*

Неужели вы в самом деле полагаете, что выражение *формы ее тела* равносильно *выгнутой спине и острым грудям*? Тем более когда речь о негритянке с островов.

И неужели по-вашему *безнравственно* говорить о девочке, что *в свои одиннадцать лет она уже созрела*, хотя всем известно, что Айша была еще младше, когда Магомет женился на ней (а ведь она не была негритянкой и не родилась в тропиках)?

Сударь, я искренне хочу поблагодарить вас за любезный прием; *но я знаю, что пишу и рассказываю только о том, что сам видел*».

Тематически этот текст перекликается с опубликованным в 1864 году перевернутым сонетом «Далеко, далеко отсюда» (пер. Эллиса). В письме к Пуле-Маласси от 15 декабря 1959 года Бодлер характеризует «Доротею» как «воспоминание об острове Бурбон», относящееся к путешествию поэта в 1841—1842 годах. Героиня стихотворения — реальное лицо, Бодлер узнал о ней от знакомой.

XXVI. Глаза бедняков

Впервые — в газете «Ви паризьен», 2 июля 1864.

XXVII. Героическая смерть

Впервые — в журнале «Ревю насьональ э этранжер», 10 октября 1863.

Этот текст, один из самых длинных и самых романтических в сборнике, тяготеет к жанру сказки. Как показывает исследователь Ж. Старобински, образы Князя, шута и рассказчика представляют собой три ипостаси самого поэта.

[31] Ср. в сборнике «Цветы зла» стихотворение «Сплин» («Я — властелин страны, дождливой испокон...»).

[32] Об удивлении как эстетической категории см. в «Салоне 1859 года» (гл. 2 «Современная публика глазами фотографа»): «Прекрасное всегда удивляет...»

[33] Ср. ироническую параллель между древним и новым театром в предисловии к роману «Мадемуазель де Мопен» Т. Готье, во многом повлиявшему на бодлеровские стихотворения в прозе: «Вы хвалите Оперу? Десять таких Опер, как ваша, могли бы сплясать сарабанду в римском цирке. ⟨...⟩ Что ваши бенефисы, затягивающиеся до двух часов пополуночи, когда вспоминаешь о представлениях, длившихся дней этак по семь, во время которых настоящие корабли по-настоящему сражались в настоящем море; когда тысячи людей добросовестно кромсали друг друга на куски...»

[34] Бодлер, так же как его друзья Готье и Шанфлери, с юности интересовался пантомимой (об этом см. его эссе «О сущности смеха»).

XXVIII. Фальшивая монета

Впервые — в газете «Л'Артист», 1 ноября 1864.

Первоначальный замысел этого стихотворения отразился в статье «Школа язычников» (1852): «Мне вспоминается один водевильный актер, который, обнаружив у себя фальшивую монету, заявил: „Я приберегу ее для нищего". Негодяй предвкушал извращенное удовольствие при мысли, что он надует бедняка и заодно прослывет милосердным».

XXIX. Великодушный игрок

Впервые — в газете «Фигаро», 7 февраля 1864.

[35] Здесь подразумевается не столько эпизод из «Одиссеи» (песнь IX), сколько поэма «Лотофаги» (1832) А. Теннисона.

[36] Возможно, имеется в виду отец Равиньян, проповедник Собора Парижской Богоматери. В приведенной Бодлером

фразе узнается слегка измененная старая мысль схоластиков: «Diabolum negare est diabolum credere» — «Отрицать дьявола — значит верить в дьявола» (*лат.*).

[37] К. Пишуа отмечает близость этой реплики к словам, которыми Мефистофель описывает свои беседы с Богом в переложении «Фауста» (1826), принадлежащем перу Ж. де Нерваля, друга Бодлера: «Я люблю время от времени наносить визиты старику Господу Богу и всячески избегаю с ним ссориться. Со стороны столь важной особы очень мило проявлять столько добродушия в беседе с дьяволом».

[38] Ср. в «Дневниках»: «Возможно, ростовщики и убийцы обращаются к Богу со словами: „Господи, сделай так, чтобы мне удалось задуманное!“»

XXX. Веревка

Впервые — в газете «Фигаро», 7 февраля 1864.

[39] *Эдуар Мане* (1832—1883) — французский художник, которого Бодлер знал и ценил (в 1865 году он пишет Мане: «Вы — всего лишь первый в вашем искусстве, прозябающем в упадке...»); Бодлер и Мане ведут своего рода диалог средствами поэзии и живописи, и данное стихотворение — одна из реплик в этом диалоге. Так, в 1862 году Бодлер сочувственно упомянул о Мане в статье «Живописцы и офортисты», а Мане запечатлел Бодлера на картине «Музыка в Тюильри». В том же году Мане пишет портрет подруги поэта Жанны Дюваль. Еще одна перекличка в творчестве обоих художников — «Лола из Валенсии», картина Мане, которой посвящено стихотворение Бодлера. Как показал Р. Копп, стихотворение в прозе «Веревка» основано на реальном факте: в мастерской Мане покончил с собой некий Александр, мальчик, в чьи обязанности входило мыть кисти и бегать по поручениям. Он изображен на картине Мане «Ребенок с черешнями» (ок. 1858—1859) и на офорте «Мальчик и собака» (1861).

XXXI. Призвания

Впервые — в газете «Фигаро», 1864.

Этот текст подводит итог размышлениям Бодлера над детством как истоком творчества. Ср. в книге «Поедатель опиума»: «...мне кажется, что воистину важное значение впечатлений детства еще никем не было должным образом обосновано... гений — это четко сформулированное детство, наделен-

ное зрелыми и могучими органами, необходимыми ему для самовыражения...» Позднее, в статье Бодлера «Поэт современной жизни», опубликованной в «Фигаро» в конце 1863 года, читаем: «Ребенку все *внове*, он находится в постоянном опьянении. Ничто более не походит на вдохновение, чем радость, с которой ребенок впитывает форму и цвет... Талант и есть *вновь обретенное детство*...» Разговор четырех детей — это монологи четырех ипостасей «я» самого поэта.

[40] Истоки этого монолога, по-видимому, также лежат в детстве самого Бодлера. Ср. упомянутый в списке литературных замыслов Бодлера роман «Не по годам развитые дети».

[41] Как показывает Р. Копп, этот монолог вдохновлен статьей Ф. Листа «О цыганах и их музыке в Венгрии» (1859), в которой композитор подробно разбирает и полностью цитирует стихотворение швейцарского поэта Николауса Ленау «Три цыгана»; приводим его в переводе В. Левика:

Грузно плелся мой шарабан
Голой песчаной равниной.
Вдруг увидал я троих цыган
Под придорожной осиной.

Первый на скрипке играл, — освещен
Поздней багровой зарею,
Песенкой огненной тешился он,
Все позабыв за игрою.

Рядом сидел другой с чубуком,
Молча курил на покое,
Радуясь, будто следить за дымком —
Высшее счастье земное.

Третий, подле своих цимбал,
Мирно спал, беззаботный.
В струнах ветер степной трепетал,
В сердце — сон мимолетный.

Каждый носил цветное тряпье
Словно венец и порфиру.
Каждый гордо делал свое
С вызовом Богу и миру.

Трижды я понял, как счастье брать,
Вырваться сердцем на волю,
Как проспать, прокурить, проиграть
Трижды презренную долю.

Долго — уж тьма на равнину легла —
Мне чудились три цыгана:
Волосы, черные как смола,
И лица их, цвета шафрана.

XXXII. Тирс

Впервые — в журнале «Ревю насьональ э этранжер», 1863.

Образ тирса, к которому Бодлер обращается неоднократно, заимствован им, по-видимому, из книги Де Квинси «Suspiria», анализируя которую, Бодлер пишет в заключении к «Поедателю опиума»: «Здесь, как и прежде, мысль — всего лишь тирс, с которым он (Де Квинси. — *Е. Б.*) шутливо сравнил ее в начале своего повествования. Факт, сюжет — это всего лишь голая сухая палка, но затейливые переплетения разноцветных лент, виноградной лозы и цветов преображают ее в вакхический атрибут. Мысль Де Квинси не просто извилиста... она воистину спиральна».

[42] Бодлер познакомился с *Ференцом Листом* в 1861 году, тогда же надписал ему экземпляр «Искуственного рая», а Лист подарил ему свое эссе «О цыганах и их музыке в Венгрии» (см. примеч. к «Призваниям»). Отметим, что для творчества Листа характерна принципиальная программность; источники многих его произведений лежат в романтической литературе.

[43] *Камбринус* (или Гамбринус) — легендарный пивной король, изобретатель пива, изображаемый с кружкой пенного пива в руке; предание о нем относится к Позднему Средневековью, было распространено в Брабанте, Германии, Франции и, возможно, восходит к творчеству вагантов.

XXXIII. Опьяняйтесь

Впервые — в газете «Фигаро», 1864.

Этот текст близок к стихотворному циклу «Вино» и к эссе «Искусственный рай».

XXXIV. Уже!

Впервые — в журнале «Ревю насьональ э этранжер», 1863.

Это стихотворение, вероятно, так же как «Прекрасная Доротея», восходит к путешествию Бодлера в 1841—1842 годах.

XXXV. Окна

Впервые — в журнале «Ревю насьональ э этранжер», 1863.

Р. Копп отмечает близость этого текста к сказке Гофмана «Угловое окно», с которой Бодлер мог познакомиться по переводу Шанфлери, опубликованному в 1856 году.

XXXVI. Порыв к живописи

Впервые — в журнале «Ревю насьональ э этранжер», 1863.

[44] Ср. сонет Ж. де Нерваля «El Desdichado» (1853):

Явилась мне моя померкшая звезда,
Как солнце черное с гравюры незабвенной.

(*Нерваль Ж. де.* Дочери огня /
Пер. Н. Рыковой. Л., 1985. С. 400)

[45] Этот образ, как свидетельствует Р. Копп, Бодлер заимствовал из историко-героической поэмы Лукана «Фарсалия, или Поэма о гражданской войне». Бодлер с юности восхищался этим произведением и даже мечтал его перевести. 15 января 1865 года он пишет Сент-Бёву из Брюсселя: «Фарсалия, по-прежнему блистательная, меланхоличная, душераздирающая, стоическая, утешила мою невралгию». Среди неосуществленных проектов стихотворений в прозе, оставшихся в черновиках Бодлера, имеется запись: «Последние песни Лукана».

XXXVII. Благодеяния Луны

Впервые — в газете «Бульвар», 1863.

Сохранился отзыв Эжена Делакруа об этом тексте в разговоре с его учеником П. Андриё: «...в день, когда художники утратят знание и любовь к своему орудию труда, начнутся бесплодные теории. Ведь, разучившись выражать свою мысль формами и красками, они примутся выражать ее словами и отдадут ее литераторам... Вчера я говорил об этом г-ну Бодлеру, который приходил прочесть мне то, что сам он называет стихотворениями в прозе. Когда он прочел „Благодеяния Луны“, я сказал ему, что это самое прекрасное соответствие фону „Отплытия на Цитеру“ и что он дал мне более почувствовать его воздушную тайну, чем сумело бы любое самое дотошное истолкование».

XXXVIII. Кто из них настоящая?

Впервые — в газете «Бульвар», 1863.

XXXIX. Породистая лошадь

Впервые — в газете «Фигаро», 1864.

[46] Р. Копп указывает, что мода сравнивать женщин с лошадьми возникла в 1830—1840-х годах; ср. в романе Т. Готье «Мадемуазель де Мопен»: «...Феррагюс — так я назвал моего скакуна — очаровательнейшее создание на свете... я обнимаю его за шею и целую так нежно, право слово, будто передо мной красивая девушка». В романе Бальзака «Отец Горио»: «Чистокровная лошадь, породистая женщина — эти выражения начинали замещать небесных ангелов, образы Оссиана, всю старинную мифологию, отброшенную дендизмом».

XL. Зеркало

Впервые — в журнале «Нувель ревю де Пари», 1864.

Язвительный тон этого стихотворения характерен для позднего Бодлера; ср. памфлет «Бедная Бельгия!» и некоторые страницы «Дневников».

[47] Внутренне отойдя от юношеской революционности, Бодлер охотно высмеивает «бессмертные принципы»; ср. в его предисловии к «Необычайным историям» Э. По: «Мудрость XIX века, так часто и так охотно перечисляя многочисленные права человека, забывает о двух, весьма важных, — это право себе противоречить и *право уйти*».

XLI. Порт

Впервые — в журнале «Нувель ревю де Пари», 1864.

XLII. Портреты любовниц

Впервые — в журнале «Ревю насьональ э этранжер», 1867.

[48] *Керубино* — персонаж комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».

[49] В статье «Поэт современной жизни», в главе «Похвала косметике», Бодлер подробно рассуждает о необходимости женщинам украшать себя, не довольствуясь природной красотой. Ср. требования к женщине, предъявляемые героем «Ма-

демуазель де Мопен» Готье: «Не представляю себе красавицы, у которой не было бы кареты, лошадей, лакеев... красоте подобает богатство. Одно требует другого: хорошенькая ножка требует хорошенькой туфельки, туфелька — ковра и экипажа и так далее. Красивая женщина в бедном платье, в убогом жилище — это, по-моему, самое тягостное зрелище на свете, и я бы не мог ее любить».

XLIII. Галантный стрелок

При жизни Бодлера не публиковалось.

Первый набросок — в «Дневниках» — относится, по-видимому, к 1859—1860 годам, а само стихотворение, скорее всего, написано уже в Бельгии.

[50] Имеется в виду Булонский лес (парк в Париже).

XLIV. Суп и облака

При жизни Бодлера не публиковалось.

Это стихотворение написано в Бельгии около 1865 года. Р. Копп сообщает, что оно относится к некой Берте; сохранился ее портрет, нарисованный Бодлером и сопровожденный двумя подписями. Справа: «Чудовищной сумасшедшей малютке на память о большом сумасшедшем, который хотел удочерить девушку, но не изучил ни характера Берты, ни закона об удочерении. Брюссель, 1864». Надпись слева похожа на первоначальный набросок данного стихотворения: «За обедом я смотрел на облака за открытым окном, и она мне сказала: „Ешьте наконец суп, проклятый торговец облаками!“»

XLV. Тир и кладбище

Впервые — в журнале «Ревю насьональ э этранжер», 1867.

[51] *Гораций* (65—8 до н. э.) — древнеримский поэт, воспевавший радости жизни и одновременно умеренность, самоограничение; считался учеником древнегреческого философа Эпикура (341—270 до н. э.), чье учение, ошибочно трактовавшееся в гедонистическом духе, сводилось на самом деле к поиску счастья в аскетизме.

[52] Здесь, возможно, реминисценция из «Опытов» Монтеня: «...египтяне, по окончании пира, показывали присутствующим огромное изображение смерти, причем державший его

восклицал: „Пей и возвеселись сердцем, ибо, когда умрешь, ты будешь таким же“» (*Монтень*. Опыты / Пер. А. Бобовича. М.; Л., 1958. С. 113).

XLVI. Утрата ореола

При жизни Бодлера не публиковалось.

Первый набросок — в «Дневниках» («Фейерверки»), на том же листке, что и набросок «Галантного стрелка».

XLVII. Мадемуазель Бистури

При жизни Бодлера не публиковалось.

Написано в Брюсселе. *Bistouri* по-французски означает хирургический нож, скальпель. Возможно, Бодлер вспоминал также о персонаже очерка Адриена Маркса «Мамаша Бистури» («Эпоха», 30 января 1866): «Это была сухая старая дева, желтолицая, всегда в черном. Она жила в больнице, поджидала доктора (Ламбаля) в палатах, куда приходила задолго до интернов, и ни на шаг не отходила от дежурного врача. Великий хирург очень считался с ней и не гнушался доверять ей некоторые поручения, с коими она превосходно справлялась. Дело в том, что у нее была неописуемо легкая рука, и раны она вскрывала с таким проворством, я бы сказал — с такой грацией, подобную которой я редко видывал».

[53] *Ренье*, Матюрен (1573—1613) — французский сатирический поэт, высоко ценимый Бодлером. В 11-й сатире Ренье «Убогое жилище» описана комната проститутки.

[54] Вероятно, имеется в виду Антуан Морен (1799—1850), художник, о котором в статье «Поэт современной жизни» Бодлер отозвался как об одном их тех, «кто запечатлел сомнительных граций времен Реставрации».

[55] Имеются в виду июньские дни революции 1848 года, когда в Париже вспыхнуло восстание, на улицах выросли баррикады; беспорядки были жестоко подавлены правительственными войсками.

[56] «*Скорбящая*». — Имеется в виду больница Богоматери Скорбящей, которая расположена в Париже на улице Жарден де Плант; там, между прочим, умер Алоизиюс Бертран, автор «Гаспара из тьмы».

XLVIII. Anywhere out of this world (Куда угодно прочь из этого мира)

Впервые — в журнале «Ревю насьональ э этранжер», 1867.

Название этого стихотворения было подсказано Бодлеру стихотворением английского поэта Томаса Гуда (1799—1845) «Мост вздохов», которое он перевел в 1865 году в Брюсселе. То же словосочетание использовал и чтимый Бодлером Э. По в лекции «Поэтический принцип», с которой неоднократно выступал в последние годы жизни (опубликована посмертно в 1850 году).

XLIX. Бейте бедняков!

При жизни Бодлера не публиковалось.

Р. Копп предполагает, что это стихотворение было написано на другой день после смерти Прудона (29 января 1865 года) — события, которому пресса уделила большое внимание, — и явилось своеобразным откликом на него. «Книги, модные лет шестнадцать-семнадцать тому назад», то есть в 1848 году, могли быть трудами Прудона, революционными идеями которого Бодлер в то время увлекся (в одной из статей он писал: «Европа всегда будет нам завидовать, что у нас есть такой писатель, как Прудон»); позже, разочаровавшись в этих идеях, он сохранил к Прудону почтение как к экономисту. Французский исследователь К. Пишуа считает, что первоначальным наброском этого стихотворения можно считать эпизод из письма Бодлера к Надару от 30 августа 1864 года: «Поверишь ли, что я оказался способен *избить* одного бельгийца? Неправдоподобно, не правда ли? То, что я мог избить кого бы то ни было, уже абсурд. Но еще более чудовищно то, что я был совершенно не прав. Поэтому, когда чувство справедливости одержало во мне верх, я побежал за ним, чтобы извиниться. Но найти его мне не удалось».

[57] Намек на распространенные в то время в Европе попытки ускорить созревание плодов с помощью магнетизма.

[58] *Лелю* и *Байярже* — известные психиатры, современники Бодлера; первый из них является автором книги «Демон Сократа» (1836), где утверждает, что Сократ был душевнобольным, так же как Тассо, Паскаль, Руссо, Сведенборг и т. д.

[59] Судя по всему, Бодлер путает двух Зенонов — Зенона из Китиона, основоположника стоицизма, учившего в Афинах, в портике («стоик» — от греч. *stoa*, «портик»), и Зенона Элейского, основоположника диалектики, известного своими софизмами.

L. Хорошие собаки

Впервые — в газете «Л'Индепанданс бельж», 1865.

[60] *Жозеф Стевенс* (1819—1892) — художник-анималист, чья дружба поддерживала Бодлера в Бельгии. Приводим вступление, которым сопровождалась первая публикация этого текста:

«Предлагаем нашим читателям любопытный неопубликованный отрывок, сочиненный г-ном Шарлем Бодлером по поводу жилета, который ему подарил г-н Жозеф Стевенс при условии, что он напишет что-нибудь о собаках бедняков.

В нескольких строках этого стихотворения, относящихся к собакам бродячего акробата, читатель узнает исчерпывающее описание одной из лучших картин художника». (Имеется в виду картина Стевенса «В комнате бродячего акробата».)

[61] *Бюффон*, Жорж-Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель. Бодлер высоко ценил его язык и стиль.

[62] См. примеч. к стихотворению в прозе «Шутник».

[63] Слово «лоретка», обозначающее элегантную молодую женщину нестрогих нравов, ввел в язык Нестор Рокплан (см. следующее примеч.).

[64] *Нестор Рокплан* (1804—1870) — французский журналист и театральный деятель; стихотворение Бодлера во многом опирается на упомянутый фельетон. Ср.: «Потому что умная собака относится к породе собак, которые не терпят ни правил, ни законов, ни домашней жизни. А поскольку жить-то надо, они подчиняются правилам домашней жизни в самом крайнем случае, опускаясь при этом до не слишком-то достойных ухищрений.

Этот пес — тот, что бежит во весь дух и заставляет людей, чьи брюки он задевает на бегу, ломать себе голову над вопросом: „Куда идут собаки?“ Он идет... идет на зов страсти. Иногда все дело в прекрасной суке, которая приметила его и привлекла своим кокетством как-то раз, когда он пробегал богатым кварталом и взглянул на балкон красивого особняка. Он взял у нее адрес и пошел обедать, а вечером вороватой трусцой крадется к дому своей сеньоры, рискуя, что привратник прибьет его, хотя жена привратника уже растрогалась и поощряет связь, неравную с точки зрения общественных приличий...

Одним словом, у бегущей собаки вид озабоченный; внезапно она останавливается на углу, потом решительно несется дальше; она бежит, чтобы бежать, чтобы убежать оттуда, где она только что была».

[65] Бодлера и поэта, романиста, литературного критика Шарля Сент-Бёва (1804—1869) связывала дружба, со стороны Бодлера искренняя и пылкая, со стороны Сент-Бёва куда более сдержанная.

[66] Этим эвфемизмом — *les officieux* («обслуживающий класс») — в эпоху Великой французской революции называли слуг как сословие.

[67] Имеется в виду книга Э. Сведенборга «Об истинной христианской религии» (т. III, § 800—805 «О голландцах в мире духа» и § 828—834 «О магометанах в мире духа»), которая была опубликована в 1853 году в переводе с латыни на французский.

[68] *Вергилий* (70—19 до н. э.) — древнеримский поэт; Бодлер имеет в виду его «Буколики» — книгу стихотворений о мирной пастушеской жизни, образцом для которых послужили ему «Идиллии» — стихотворения буколического, пасторального жанра, созданные древнегреческим поэтом *Феокритом* (ок. 300—ок. 260 до н. э.).

[69] Имеется в виду английская таверна «Horton's Prince of Wales» в Брюсселе, где собиралась артистическая богема.

[70] В 1858 году Бодлер и сам удостоился сравнения с итальянским поэтом, прозаиком, драматургом Пьетро *Аретино* (1492—1556): в «философском, политическом и литературном» журнале «Эсперанс» упомянут, в числе прочих, «г-н Шарль Бодлер, современный Аретино, с несомненным талантом живописующий низкопробные стороны жизни».

Эпилог

Современные исследователи полагают, что этот «Эпилог», традиционно публикуемый в конце «Парижского сплина», на самом деле представляет собой неоконченный набросок эпилога к «Цветам зла».

ФАНФАРЛО

Впервые новелла «Фанфарло» была опубликована в январе 1847 года в «Bulletin de la Société des gens de lettres»; написана она, по всей вероятности, не раньше 1843 и не позже 1846 года. В ее сюжете французские исследователи отмечают близость к романам Бальзака, в частности к «Беатрисе». Комментаторы усматривают в чертах танцовщицы Фанфарло некоторое сходство с актрисой Мари Добрен, в которую поэт

был влюблен, и с танцовщицей Лолой Монтес. Прототипом г-жи де Комелли была, по-видимому, Фелисите Бодлер, жена сводного брата Шарля.

Перевод выполнен по изданию: *Baudelaire*. Oeuvres complètes. Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Gallimard, 1975. При составлении комментария учитывались комментарий Клода Пишуа к этому изданию, а также постраничные примечания М. Рюффа к Полному собранию сочинений Бодлера в издательстве «Editions du Seuil», 1968.

[1] Весь этот портрет вполне можно отнести к самому Бодлеру; упоминание Рафаэля, по-видимому, шутливая дань восхищения, воздаваемая Бальзаку, который часто упоминает портреты Рафаэля, описывая своих героев.

[2] В ранних своих произведениях Бодлер в целях большей выразительности охотно употреблял тире, а иногда даже запятую и тире; такая пунктуация была тогда новшеством.

[3] *Плотин* (205—270) — греческий философ, основатель неоплатонизма; *Порфирий* (232 или 233—304) — греческий философ, ученик Плотина. В XIX веке к неоплатонизму проявляли большой интерес мыслители и эпигоны романтизма; во Франции его издателем и исследователем был современник Бодлера Виктор Кузен.

[4] *Кребийон*, Клод Проспер Жолио (1707—1777) — французский писатель, автор занимательных и легкомысленных романов, полных намеков на реальные события и лица.

[5] *Кардано*, Джероламо (1501—1576) — итальянский математик, философ и врач; внес вклад в развитие натурфилософии, обвинялся в атеизме.

[6] *Стерн*, Лоренс (1713—1768) — английский писатель; в его творчестве чувствительность сочетается с насмешкой над чувствительностью; Вольтер назвал его вторым Рабле. Со Стерном по примеру своего героя «играет» и сам Бодлер: см. «Салон 1859 года», где он сравнил мальчика в церкви на картине художника Легро с ослом у Стерна, жующим миндальное печенье, а затем шутливое обращение к Стерну в «Парижском сплине» («Хорошие собаки»).

[7] *Рабле*, Франсуа (1494—1553) — французский писатель-гуманист; Бодлер рассуждает о нем в эссе «О сущности смеха». Стиль Рабле насыщен гиперболами.

[8] Шведский ученый и теософ-мистик Эмануэль Сведенборг оказал сильное влияние на романтическую литературу, в частности на таких важных для становления Бодлера авторов, как У. Эмерсон и О. Бальзак. Бодлер в своем творчестве постоянно обращается к его идеям.

[9] Бодлер, подаривший Самюэлю много собственных черт характера и биографии, сам жил в Лионе с 1832 по 1836 год.

[10] Так звали служанку в доме матери Бодлера: ей посвящено стихотворение в «Цветах зла».

[11] *Вальтер Скотт* (1771—1832) — автор многочисленных исторических романов, очень много значил для старших современников Бодлера (Гюго, Бальзака, Виньи); именно поэтому Бодлер и его герой, отталкиваясь от опыта Вальтера Скотта, относятся к нему пренебрежительно.

[12] *Панье* (первая половина XVIII века) — нижняя юбка на обручах из китового уса, придававшая туалету пышность. *Нижнюю юбку Удино* носили под верхним распашным платьем; Удино — имя модного фабриканта, производившего такие юбки во времена Второй империи.

[13] Образец такой пристрастной критики «средневековых романов» приводит чтимый Бодлером Т. Готье в предисловии к своему роману «Мадемуазель де Мопен»: «Ох уж эти мне железные бароны в железных латах, с железными сердцами в железной груди! Ох уж эти мне соборы... гранитное кружево, ажурные трилистники, зазубренные коньки, узорчатые каменные ризы... свечи, псалмы, пламенные пастыри, коленопреклоненный народ... Во плоти, в которую вы облекли ваши фантомы, не циркулирует кровь, под вашими стальными латами нет сердца, в ваших штанах-чулках нет ног, а под платьями с шлейфами — ни животов, ни грудей...»

[14] Судя по свидетельствам друзей, к той же категории принадлежал и сам Бодлер.

[15] *Коммандитное общество* — торговое товарищество, из членов которого одни только вносят деньги, не участвуя в ведении дела, а другие — или кто-то один — являются ответственными деятелями.

[16] Орланы, хищные птицы семейства ястребиных, были одним из распространенных романтических атрибутов, принадлежностью поэтических руин, и в этом качестве, безусловно, годились как название сборника стихов.

[17] *Беркен*, Арно (1747—1791) — автор пресных элегий и рассказов для юношества.

[18] Еще одна реминисценция из «Мадемуазель де Мопен» Т. Готье. Героиня этого романа выражает сходное желание: «Если бы у меня был любовник, мне бы очень хотелось узнать, как он говорит обо мне с другим мужчиной и в каких выражениях похваляется своей удачей перед товарищами по кутежу, когда голова у него уже затуманена вином, а оба локтя упираются в стол». Героиня Готье осуществляет этот замысел, переодевшись в мужское платье. К мотиву разговора о жен-

щинах в мужской компании Бодлер впоследствии вернулся в стихотворении в прозе «Портреты любовниц».

[19] Имеется в виду роман Бальзака «Беатриса», упоминавшийся выше, в сюжете которого есть известное сходство с историей г-жи де Комелли.

[20] Подразумевается эпизод из 7-й сцены 4-го акта комедии Мольера «Тартюф»: Оргон выскакивает из-под стола, где прятался, пока Тартюф — воплощенное лицемерие — пытается соблазнить Эльмиру.

[21] *Дени Дидро*. Мысли. 32.

[22] *Вальмон* — герой «Опасных связей» Ш. де Лакло; *Ловлас* — герой романа С. Ричардсона «Кларисса»; оба персонажа выступают в роли соблазнителей.

[23] Имеется в виду героиня «Тартюфа».

[24] Беатриче здесь, разумеется, адресат поэзии Данте, образец прекрасной возлюбленной, но в то же время, возможно, еще одно напоминание о «Беатрисе» Бальзака.

[25] Описание артистической карьеры Фанфарло подтверждает гипотезу о том, что ее реальным прототипом была танцовщица Лола Монтес (1821—1861), промелькнувшая на сцене парижской Оперы в 1844—1846 годах; публика была скандализирована тем, что она танцевала, как уличные плясуньи в Севилье. Враждебность парижской публики была вызвана отчасти тем, что она пыталась произвести революцию в области танца.

[26] Как показал Ж. Робб, речь идет о суде над Розмоном де Бовалоном, который 11 марта 1845 года убил на дуэли друга Лолы Монтес Дюжарье. Бовалона приговорили к штрафу в 10 000 франков. В газете «Корсер-Сатан» вскоре после судебного разбирательства появилась статья, полная насмешек над генеральным адвокатом, который «упомянул о *возможностях фельетона*», то есть о шантаже, который могут пускать в ход критики против артистов, если те, как он выразился, будут держать себя «*совершенно независимо по отношению к журналистам*».

[27] Та же газета «Корсер-Сатан», не чуравшаяся шантажа, в конце 1846 года, как указывают Ж. Крепе и Ж. Блен, иронически поздравила некую молодую актрису с тем, какие пылкие чувства она питает к своей подруге.

[28] *Деверия*, Ашиль (1800—1857) — живописец, рисовальщик, гравер и литограф; охотно иллюстрировал книги писателей романтического направления, не чуждался галантных сцен. См. о нем в статье Бодлера «Поэт современной жизни».

[29] *Коломбина* — здесь: героиня ценимого Бодлером театра пантомимы, подруга Пьеро; *Маргарита* — героиня «Фауста»

Гёте; *Эльвира* — героиня комедии Мольера «Дон Жуан»; *Зефирина* — персонаж пьесы Дюмерсана и Варена «Бродячие акробаты», поставленной в театре «Варьете» в 1831 году.

[30] То есть у парижских «прóклятых поэтов», в чьей судьбе есть сходство с упоминающимися Бодлером. *Чаттертон*, Томас (1752—1770) — английский поэт, чья горестная судьба была хорошо известна французским читателям благодаря драме А. де Виньи; *Сэведж*, Ричард (1698—1743) — английский поэт и памфлетист, чьи невзгоды (незаконнорожденность, обвинение в убийстве) легли в основу драмы немецкого романтика Карла Гуцкова.

[31] Как указывает К. Пишуа, источник этого обращения к трюфелям — книга Антельма Брийя-Саварена «Физиология вкуса». Ср.: «Римлянам был известен трюфель; но французских сортов у них, по-видимому, не было. Те трюфеля, которые считались у них лакомством, пришли из Греции, из Африки, а более всего из Ливии; их мясо было белое или красноватое. ...От римлян до наших дней тянулось междуцарствие...»

[32] *Кибела* — в древнегреческой мифологии богиня земли и плодородия.

[33] *Парацельс* (1493—1541) — швейцарский врач и алхимик.

[34] *Малабарский берег* — западное побережье полуострова Индостан в Индии, к югу от Гоа. Бодлер побывал там во время путешествия 1841—1842 годов.

[35] Эстетический идеал Бодлера, идеал «дендизма», включал в себя неприятие всего «естественного», то есть необработанного, природного; подробнее об этом см. в «Дневниках».

[36] Ср. у Бальзака в «Девушке с золотыми глазами», 3-я глава: «...затем он удалился, засунув руки в карманы с поистине бесстыдной беспечностью. — Прекрасная вещь — сигара! Вот уж от чего мужчина никогда не устанет! — подумал он».

[37] По-видимому, Бодлер приписывает Самюэлю Крамеру свои литературные занятия. Правда, относительно книги «О четырех евангелистах» трудно сказать что-либо определенное, зато о символике цвета Бодлер рассуждает в 3-й главе «Салона 1846 года». «Исследование новой системы объявлений», как указывает французский комментатор, может относиться к концу 1846 года, когда Бодлер анонимно работал вместе с Огюстом Витю и Теодором де Банвилем над книгой «Суматоха (разговоры)». Четвертая же книга, вероятно, — «Галантные тайны парижских театров»; эта вещь также написана Бодлером в соавторстве; приведенный эпиграф намекает

на то, что ей не чужд характер шантажа; возможно, именно поэтому рассказчику неохота о ней вспоминать.

[38] *Вергилий*. Энеида. III, 57.

[39] Здесь Бодлер предсказывает свою собственную будущность: в 1848 году он станет одним из основателей газеты «Salut publique» и примет участие в революционных событиях.

[40] *Низар*, Дезире (1806—1888) — писатель-романтик, в общественной жизни державшийся достаточно беспринципно и несколько раз резко менявший политические убеждения.

ДНЕВНИКИ

Бодлер никогда не вел дневника. Книга, в посмертных изданиях озаглавленная «Дневники», представляет собой разрозненные записи, более тесно связанные не с биографией поэта, а с его творчеством и напряженными духовными поисками последних лет жизни. По-видимому, работа над этой книгой продолжалась с 1855 по 1866 год, вплоть до последней, предсмертной болезни Бодлера. Дневник был задуман как самостоятельное произведение. Так, в письме к матери от 1 апреля 1861 года Бодлер пишет: «Вот уже два года я мечтаю о большой книге „Мое обнаженное сердце“, в которую вложу всю мою злость. Ах, если когда-нибудь это выйдет на свет, „Исповедь“ Ж⟨ан⟩ Ж⟨ака⟩ покажется бледной. Как видишь, я все еще мечтаю».

В то же время в «Дневнике» отразилась работа над рядом статей, эссе, переводов из Э. По и стихотворений: Бодлер намечает и разрабатывает темы, сюжеты, образы.

Рукопись книги представляет собой записи на отдельных листах; каждый из них Бодлер снабдил отдельным заголовком. Три серии этих листков — «Мое обнаженное сердце», «Фейерверки», «Гигиена» — вперемешку находились в стопке, которую писатель и литературный критик Шарль Асселино, друг Бодлера, получил от матери Бодлера, г-жи Опик, после его смерти.

Затем эти бумаги перешли к О. Пуле-Маласси; он разбил их на два отдела: «Мое обнаженное сердце» и «Фейерверки» («Гигиену» он отнес к «Моему обнаженному сердцу»), пронумеровал, наклеил на плотные листы и переплел.

После смерти Пуле-Маласси владельцем рукописи стал Эжен Крепе — он в 1887 году впервые опубликовал ее в составе сборника «Неизданные произведения» (с некоторыми сокращениями). Почти все пропуски были восстановлены в книге «Неизданные произведения», которую в 1908 году вы-

пустил Жак Крепе. Им же подготовлено первое научное издание «Дневников», опубликованное в 1938 году.

Перевод выполнен по изданию: *Baudelaire Ch.* Oeuvres completes. T. 2. Paris, 1975. В свое время бесценные советы при работе над переводом мне дала Э. Л. Линецкая, которую я вспоминаю с глубокой благодарностью.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ИР — *Бодлер Ш.* Искусственные раи / Пер. В. Алексеева. М., 1991.

Об искусстве. — Шарль Бодлер об искусстве. М., 1986.

ЦЗ — «Цветы зла».

СП — «Стихотворения в прозе».

Oeuvres — *Baudelaire Ch.* Oeuvres complètes. T. 1—2. Paris, 1975.

ФЕЙЕРВЕРКИ

Название «Фейерверки» Бодлер, по всей видимости, заимствовал из книги Э. По «Маргиналии», представляющей собой серию афоризмов и рассуждений. К тому же источнику восходит и часто встречающийся в этом разделе заголовок «Догадки»: один из разделов «Маргиналий» озаглавлен «Пять догадок», а другой — «Глава догадок».

[1] См. в «Поэме о гашише» описание воздействия наркотика, когда при галлюцинации «музыкальные ноты становятся числами... числа порождают числа...» и т. д. (ИР. С. 28), в статье «Виктор Гюго» — о сложных теологических связях между единицей и безграничным множеством чисел. Ср. также последний стих стихотворения «Бездна». На эти рассуждения Бодлера могло навести чтение французского философа-мистика Луи-Клода де Сен-Мартена (1743—1803), в частности его книга «Общие рассуждения», изданная посмертно в 1843 году. Возможно, бодлеровская теория чисел восходит к Пифагору; она могла быть навеяна также трудами математика Вронски, к которому поэт питал живой интерес.

[2] Ср.: «На фоне не то адского пламени, не то северного сияния, где перемешаны все цвета: красный, оранжевый, сернистый, розовый (вызывающий мысль об экстатических наслаждениях), иногда лиловый (излюбленный цвет монахинь, по-

добный углям, тлеющим за лазурным занавесом), — на этом волшебном фоне... предстает во всех своих многообразных обличьях порочная красота» (Об искусстве. С. 311).

[3] Имеется в виду Элиза Гуэрри, подруга знакомой Бодлера г-жи Сабатье, симпатизировавшая итальянским революционерам. Бодлер собирался написать о ней роман.

[4] *Овидий*. Метаморфозы. I, 84—86.

[5] «*Подражание Иисусу Христу*» — анонимное душеспасительное сочинение XV века, приписываемое обычно Фоме Кемпийскому.

[6] Ср. рассказ Э. По «Черный кот»: «Эта непостижимая склонность души... творить зло ради зла...» (*По* Э. Избранные произведения: В 2-х т. М., 1972. Т. 2. С. 195).

[7] *Сильвестр*, Теофиль (1823—1876) — журналист и художественный критик.

[8] *Барбара*, Шарль (1822—1866) — литератор и музыкант, друг Бодлера.

[9] *Шенавар*, Поль (1807—1895) — художник; Бодлер упоминает о нем в статьях «Салон 1846 года» и «Философское искусство».

[10] У Бодлера был родственник Франсуа *Левайян*, путешественник. Но здесь, скорее, имеется в виду его сын Жан Жак, «философ-натуралист», как аттестует его Бодлер в письме к Пуле-Маласси.

[11] *Кемпбелл*, Томас (1777—1844) — английский поэт. «Жизненное направление» (1860) — сборник эссе Ралфа Уолдо Эмерсона (1803—1882), которого Бодлер высоко ценил. В названной книге Эмерсон цитирует Кемпбелла.

[12] Для Бодлера верность литературе — своего рода «навязчивая идея». Ср. в его восторженной статье о Т. Готье: «...моя задача, в сущности, сводится к тому только, чтобы написать историю *навязчивой идеи*».

[13] Бодлера могли навести на эти рассуждения два высоко ценимых им автора. Так, у Эмерсона в эссе «Попутные соображения» читаем: «Редко бывает, чтобы человек заболел, но окружающих воодушевляет робкая надежда, что он умрет» («Жизненное направление»). Ср. также в «Альбоме пессимиста» Альфонса Рабба (см. коммент. 54): «...каким бы счастливчиком ни был человек, когда он будет умирать, рядом всегда найдется кто-нибудь, весьма довольный этим событием. Даже если человек этот добродетелен и мудр, кто-нибудь да воскликнет: наконец-то я вздохну свободно, отделавшись от этого педанта!»

[14] Бодлер выражает свое восхищение арабесками вслед за авторами, которые были ему близки. У Э. По один из сборни-

ков рассказов так и назван: «Гротески и арабески» (1839). У Готье читаем: «...совершенно идеальное и такое сложное искусство арабеска» (статья «Современное искусство», 1856). Ср. стихотворение в прозе «Тирс».

[15] Подобные взгляды на женщин Бодлер высказывал неоднократно. Ср.: «Глупость часто бывает украшением красоты... Глупость всегда помогает сохранить Красоту, она уберегает от морщин, это божественная косметика, оберегающая наших божков от шрамов, которыми раздумья уродуют нас, гадких ученых!» («Собрание утешительных максим о любви», 1846). А в «Советах молодым литераторам» (1846) Бодлер предостерегал писателей от «синего чулка, ибо это неудавшийся мужчина», и рекомендовал им в любовницы «девок и глупых женщин».

[16] В эссе «О сущности смеха» (1855) Бодлер утверждает, что смех — проявление сатанинского начала, так как смеющийся проникнут сознанием собственного превосходства.

[17] Ср. замечание Бодлера в «Собрании утешительных максим о любви»: «Если дородная женщина подчас оказывается прелестной причудой, то худая — источник сумрачного сладострастия». В неосуществленном плане драмы «Пьяница», изложенном в письме к артисту Тиссерану от 28 января 1854 года, Бодлер говорит о предполагаемой героине: «Бледность и худоба делают ее еще интереснее и воздействуют почти как наркотик».

[18] Ср. название стихотворения «Тревожное небо» (ЦЗ).

[19] Парсы — религиозная община зороастрийцев в Западной Индии, поклоняющихся огню. О страсти к поджигательству см. стихотворение в прозе «Скверный стекольщик».

[20] Ср.: «Молитва есть динамика, вверенная человеку» (*Жозеф де Местр*. Санкт-Петербургские вечера). Этим абзацем в «Дневниках» начинается тема самовоспитания и самоспасения, в большой мере основанная на книге Эмерсона «Жизненное направление» и являющаяся одной из основных тем «Дневников». Бодлер надеялся обрести прибежище в гигиене души и тела, в молитве, в труде, в правильной жизни, спасаясь от нищеты, болезней и безумия.

[21] Ср. стихотворение «Музыка» (ЦЗ), а также эссе «Рихард Вагнер и „Тангейзер“ в Париже» (1861), где Бодлер описывает ощущения от музыки: «Душа, парящая в пронизанной светом стихии... высоко над миром природы».

[22] Ср. стихотворение в прозе «Скверный стекольщик». Современники отмечали робость и застенчивость самого Бодлера, которому дендизм служил защитной маской.

[23] Мотив игры не раз возникает в творчестве Бодлера. Ср. стихотворение «Игра» (ЦЗ), стихотворение в прозе «Великодушный игрок».

[24] Источник этой мысли, которая с изменениями повторяется и ниже, в книге Ренана «Жизнь Иисуса», к которой Бодлер отнесся неодобрительно, но со вниманием: «Самые великие люди чаще всего те, которых их народ предает смерти» (*Ренан Э.* Жизнь Иисуса. М., 1991. С. 93).

[25] Ср. в «Поэме о гашише»: «Во сне, этом еженощном увлекательном путешествии, есть нечто положительно чудесное, но это чудо, неизменность которого притупляет тайну» (ИР. С. 16).

[26] Эта запись восходит к «Маргиналиям» Э. По: «Презрение, — гласит восточная мудрость, — проникает даже сквозь черепаший панцирь; но иные человеческие черепа почувствовали бы себя оскорбленными, если бы их сравнили, хотя бы с точки зрения непроницаемости, даже с панцирем гигантской черепахи с Галапагосских островов».

[27] Эта мысль, так же как предыдущая, повторяется в слегка измененном виде в «Дневниках» ниже; она перекликается с цитатой из Томаса Де Квинси, которую Бодлер приводит в эссе «Поедатель опиума» (ИР. С. 132): «Как правило, те редкие индивидуумы, к которым мне доводилось испытывать настоящее отвращение, были людьми процветающими и с хорошей репутацией. Что же касается мелких плутишек, которых я немало повидал на своем веку, то о них я всегда вспоминаю с удовольствием и симпатией». Ср. стихотворение в прозе «В час ночи».

[28] *Жирарден*, Эмиль де (1806—1881) — политический деятель и публицист, редактор консервативной газеты «Ла Пресс».

[29] Иллюзионист *Робер Уден* в 1856 году был послан в Алжир, чтобы бороться там с влиянием колдунов.

[30] В несколько измененном виде этот фрагмент входит в «Поэму о гашише» (ИР. С. 46), где восприятие наркомана описывается так: «...эти безмятежные корабли, ностальгически покачивающие мачтами и словно угадывающие наше желание: „Так когда же, когда отплывем мы за счастьем?“ ⟨...⟩ — все эти вещи созданы для меня, для меня, для меня!..»

[31] Вот, по-видимому, отрывки, которые имеет в виду Бодлер: «Угрюмые стены... безучастно и холодно глядящие окна... кое-где разросшийся камыш... белые мертвые стволы иссохших деревьев... от всего этого становилось невыразимо тяжко на душе, чувство это я могу сравнить лишь с тем, что испытывает, очнувшись от своих грез, курильщик опиума: с

горечью возвращения к постылым будням, когда вновь спадает пелена, обнажая неприкрашенное уродство. ⟨...⟩ Воображение мое до того разыгралось, что я уже всерьез верил, будто самый воздух над этим домом, усадьбой и всей округой какой-то особенный, он не сродни небесам и просторам, но пропитан духом тления, исходящим от полумертвых деревьев, от серых стен и безмолвного озера, — всё окутали тлетворные таинственные испарения, тусклые, медлительные, едва различимые свинцово-серые» (*По* Э. Падение дома Ашеров // Избранные произведения. М., 1972. Т. 1. С. 177, 179. Пер. Н. Галь).

[32] Ср. в книге Эмерсона «Жизненное направление» («Попутные соображения»): «Более всего нам нужен... кто-то, кто принуждает нас делать то, что в наших возможностях. Это и есть услуга истинного друга».

[33] Имеется в виду Мишель Леви, издатель Бодлера. Речь идет об экземплярах «Необычайных историй» Э. По в переводе Бодлера, вышедших в марте 1856 года у этого издателя.

[34] *Манн*, Уильям Уилберфорс — американец, знакомый Бодлера, несколько лет живший в Париже. Бодлер неоднократно пользовался его помощью в работе над переводами Э. По.

[35] *Уиллис*, Натэниэл Паркер (1806—1867) — американский критик, издатель Э. По, его друг и покровитель.

[36] *Мария Клемм* — тетка и одновременно теща Э. По, игравшая благотворную роль в жизни этого писателя. Бодлер посвятил ей свой перевод «Необычайных историй» Э. По.

[37] *Мирес*, Жюль Изаак — финансист, владелец газет «Пеи» и «Конститюсьонель», где Бодлер пытался поместить свой перевод «Повести о приключениях Артура Гордона Пима». *Мад. Дюме*, по-видимому, — секретарша Мираса.

[38] Важнейший пункт бодлеровской эстетики; ср., например, в статье «Всемирная выставка 1855 года»: «Прекрасное всегда необычайно» (Об искусстве. С. 138). Эта формула Бодлера также восходит к Э. По: «Всякая пленительная красота, — утверждает Бекон, лорд Веруламский, говоря о формах и родах красоты, — всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность...» (новелла «Лигейя». — *По* Э. Избранные произведения. М., 1972. Т. 1. С. 153. Пер. И. Гуровой).

[39] *Теодор де Банвиль* — поэт, друг Бодлера, ему посвящено стихотворение 1842 года. Первая часть данной записи представляет собой полемику с Барбе д'Орвийи, Эрнестом Прароном и др., упрекавшими Теодора де Банвиля в материализме и культе инстинктов. Бодлер выступил на его защиту статьей, с которой перекликается данный фрагмент. Ср.: «По-

эзия Банвиля — отражение прекрасных часов жизни» («Теодор де Банвиль»).

[40] Имеется в виду Гюго. Ср. в рецензии Бодлера на роман «Отверженные»: «Улыбка и слеза на лице гиганта — это почти божественная оригинальность».

[41] Бодлер приводит заглавие книги психиатра *Бриера де Буамона*, опубликованной в 1856 году и вызвавшей у Бодлера глубокий интерес. Последующая цитата — отрывок из письма самоубийцы, страдающего из-за козней его сожительницы. Бодлер, несомненно, усматривает здесь параллель со своими переживаниями, связанными с Жанной Дюваль (в письме к г-же Опик от 27 марта 1852 года он описывает их в сходных выражениях). Портреты, упоминаемые Бодлером, также приведены в книге Буамона как иллюстрации к явлениям *acedia* и *taedium vitae*. О *Серене* писал Сенека в трактате «О спокойствии души»; о *Стагире* — Иоанн Златоуст в «Увещеваниях к аскету Стагиру, которого мучит демон».

[42] Этот фрагмент близок к рассуждениям Бодлера о женских типах на полотнах Делакруа в статье «Всемирная выставка 1855 года» (Об искусстве. С. 151). Эстетический идеал Бодлера восходит к описаниям героинь в новеллах Э. По «Лигейя», «Домик Лэндора», к портрету маркизы Афродиты в новелле «Свидание». В статье «Эдгар По, его жизнь и творчество» Бодлер набросал портрет самого По, напоминающий тип мужской красоты, о котором идет речь в данном фрагменте.

[43] Ср. описание Сатаны: *Мильтон Д.* Потерянный рай / Пер. Арк. Штейнберга. М., 1982. С. 39—40:

...мятежный Властелин,
Осанкой статной всех превосходя,
Как башня высится.
. . . . . .
Скорбь
Мрачила побледневшее лицо,
Исхлестанное молниями; взор,
Сверкающий из-под густых бровей,
Отвагу безграничную таил,
Несломленную гордость, волю ждать
Отмщенья вожделенного. Глаза
Его свирепы, но мелькнули в них
И жалость и сознание вины...

[44] Интерес к магии и забота о здоровье были для Бодлера связаны: «Мне бы нужен такой врач, как Месмер, Калиостро или могила де Пари», — пишет он Пуле-Маласси 13 декабря

1862 года. На могиле дьякона де Пари происходили, как считалось, чудесные исцеления.

[45] Ср. предисловие Бодлера к роману Леона Кладеля «Смехотворные мученики»: «Вдохновение — это всего лишь награда за ежедневные труды».

[46] Ср. в «Поэме о гашише» о воздействии наркотика: «По мере того как развивается это таинственное состояние, вся глубина жизни, ощетинившаяся несметными проблемами, разверзается перед вами в виде гигантского спектакля, в котором любой попавшийся вам на глаза предмет, даже самый простой и обыденный, преображается в многозначительный символ» (ИР. С. 40).

[47] Запись представляет собой ядро стихотворения в прозе «Утрата ореола».

[48] Название «Четки» фигурирует в списке задуманных Бодлером стихотворений в прозе.

[49] В романе Жака Казота «Влюбленный дьявол» прекрасная Бьондетта, воплощение дьявола, превращается в чудовищного верблюда, стоило герою романа, Альвару, произнести заклинание (Бодлер цитирует это заклинание в конце стихотворения «Одержимый» — ЦЗ).

[50] Этот фрагмент — ядро стихотворения в прозе «Галантный стрелок».

[51] Сходные размышления о ненависти и одиночестве мы находим в переписке Бодлера (см., например, письма Анселю от 13 ноября 1864 года и г-же Опик от 23 декабря 1865 года).

[52] Этот отрывок получил развитие в эссе «Поедатель опиума»: «Ранняя тяга к миру женщин, mundi muliebrus, ко всем этим струящимся, мерцающим, благоухающим одеяниям, порождает высшую гениальность» (ИР. С. 114). В детстве самого Бодлера наиболее счастливым остался период, когда он жил вдвоем с овдовевшей матерью до ее повторного замужества.

[53] Ср. в одном из набросков к предисловию к «Цветам зла»: «У меня счастливый характер: я получаю удовольствие от ненависти и похваляюсь презрением. Вкус чертовски влечет меня к глупости, и потому я нахожу особое наслаждение во всех вывертах клеветы...»

[54] *Рабб*, Альфонс (1786—1830) — писатель и историк, жил в постоянной нужде и болезнях. В 1835—1836 годах был посмертно опубликован «Альбом пессимиста», фрагментарные записи, представлявшие собой его наследие. Бодлер восхищался этой книгой.

[55] Ср. в заметке «Генезис одного стихотворения», являющейся предисловием Бодлера к переведенному им стихотво-

рению Э. По «Ворон»: «...самые утонченные и самые доступные для понимания терцеты Теофиля Готье — „Сумерки“, например, четки, составленные из грозных словесных блесток о смерти и небытии...»

[56] Имеется в виду роман Клемана и Эдмона Бюра-Гюржи, вышедший анонимно в 1831 году; в нем рассказана история певицы из Оперы, добродетельной девушки, которую продала ее мать.

[57] *Хильдебранд* (род. ок. 1013; с 1073 по 1085 год — папа Григорий VII) отлучил от церкви германского императора Генриха IV (1056—1106), вынудив его к трехдневному покаянию у замка Каносса в Северной Италии. Будущий император *Наполеон III* в 1849 году послал *Эдгара Нея* с миссией к папе Пию IX и 18 августа 1849 года направил ему получившее известность письмо, в котором просил сына маршала добиться от папы, чтобы тот утвердил ряд реформ в его государстве.

[58] Здесь перекличка с рассуждениями из «Поэмы о гашише»: «Воистину всякий, кто не приемлет правил, заданных жизнью, продает душу. Нетрудно уловить связь между сатанинскими персонажами поэтов и живыми несчастными, пристрастившимися к наркотику» (ИР. С. 49).

[59] Бодлер в своем творчестве неоднократно обрушивается на расхожее понятие «прогресса», противопоставляемого «дикости» (см., например, «Новые заметки об Эдгаре По»). Уподобление Парижа лесу и прериям ввел в обиход Бальзак, а за ним — Э. Сю в романе «Парижские тайны».

[60] О растяжимости времени подробнее см. в «Поэме о гашише»: «...соотношение времени и бытия полностью искажается многообразием и интенсивностью переживаний. За один час можно прожить несколько человеческих жизней» (ИР. С. 28), а также в «Поедателе опиума»: «...чудовищно уплотненный ход времени становится еще более невыносимой пыткой. Ночь равна веку» (ИР. С. 95).

[61] Образы этого фрагмента сродни тому месту в статье «Поэт современной жизни», где карета сравнивается с плывущим кораблем: «...получаемое глазом художника удовольствие происходит, как мне кажется, от ряда геометрических фигур, которые корабль или карета, сами по себе достаточно сложные предметы, последовательно и быстро описывают в воздухе» (Об искусстве. С. 314). Ср. также в статье «Виктор Гюго»: «Если он (Гюго. — *Е. Б.*) изображает море, его морские пейзажи несравненны. Корабли, которые бороздят морскую гладь и пересекают кипящие валы, будут более, чем у любого другого художника, иметь характер воли и животности, что таинственным образом исходит из гео-

метрической и механической постройки, сооруженной из дерева, железа, веревок и полотна; чудовищное животное, сотворенное человеком, которому ветер и волна добавляют красоту движения».

62 Барбе *д'Оревийи*, Жюль (1808—1889) — французский поэт-романтик, друг Бодлера.

63 Отношение Бодлера к Виктору Гюго двойственно. Начиналось оно с резкого неприятия: так, молодой Бодлер задевает Гюго в статьях «Салон 1845 года», «Салон 1846 года», отрицает его причастность к романтизму, его творческую силу. В статье 1861 года Бодлер дает Гюго восторженную оценку: возможно, на его оценку повлияло чтение сборника «Легенда веков», судя по его письмам к матери и к Пуле-Маласси, где он восхищается этой книгой. В дальнейшем отношение Бодлера к Гюго вновь ухудшилось, что подтверждается и данными записями. Миф о Прометее был ненавистен Бодлеру в силу интерпретации, которую давали ему рационалисты и поборники «прогресса».

64 *Понмартен*, Арман де (1811—1890) — критик и литератор. В газете «Ассамбле насьональ» от 12 апреля 1856 года он откликнулся рецензией на появление «Необычайных историй» Э. По в переводе Бодлера. Преувеличенные похвалы буржуазной морали, рассыпанные в этой рецензии, вызвали неудовольствие поэта. Так, в эссе «Поедатель опиума», в главе, посвященной смерти Томаса Де Квинси, Бодлер защищает память писателя от поборников морали, «бесчисленных Понмартенов» (ИР. С. 109). «Провинциалом» Понмартена объявил Сент-Бёв, отсюда характеристика Бодлера.

65 Весь данный отрывок, возможно, связан с неосуществленным замыслом романа. Кроме того, название «Конец мира» фигурирует в списке задуманных, но не написанных стихотворений в прозе.

66 Демократический прогрессистский листок «Сьёкль» неоднократно оказывался мишенью нападений и насмешек Бодлера. Ср., например, «Письма желчного человека», где «Сьёкль» аттестуется как собрание глупостей.

ГИГИЕНА

Под названием «Гигиена» объединена серия листков, озаглавленных «Гигиена», «Поведение», «Мораль» (с разными вариантами), подчиненных в основном двум темам — морали творца и поискам духовного и физического здоровья; по мировоззрению эти записи тесно связаны с книгой Эмер-

сона «Жизненное направление», извлечения из которой Бодлер также снабдил заголовком «Гигиена. Поведение. Мораль».

[67] Эта запись содержит в себе ядро стихотворения «Бездна» (ЦЗ).

[68] *Онфлёр* — город в устье Сены, где после смерти своего второго мужа, генерала Опика, окончательно поселилась г-жа Опик, мать поэта. Бодлер побывал там в начале 1858 года и сохранил об этой поездке самые блаженные воспоминания; Онфлёр для него — место, где он может трудиться и спастись от хаоса жизни. 1 января 1861 года поэт пишет матери: «Я вернулся к старой мысли окончательно поселиться в Онфлёре...», а 6 мая того же года: «Дорогая матушка, если ты и впрямь — гений материнства... приезжай в Париж, приезжай за мной. Сам я по тысяче ужасных причин не могу уехать в Онфлёр и обрести там то, чего так хочу: немного ободрения и ласки...»

[69] Воздействие личности и творчества Э. По на Бодлера, его французского почитателя и переводчика, огромно. В наброске «От переводчика», который должен был замыкать собрание сочинений Э. По в переводе Бодлера, Бодлер пишет: «В заключение скажу неведомым французским друзьям Эдгара По, что счастлив и горд тем, что познакомил их с новым родом прекрасного; а кроме того, почему не признаться, что волю мою поддерживало некоторое сходство между ним и мною и то, что он — это частица меня самого?»

[70] *Gnothi seauton*. — Девиз Сократа.

[71] Пример того, как Бодлер учился рассуждать у Э. По, «гения, страстно увлеченного анализом» («Генезис одного стихотворения»). Ср. также: «Он (По. — *Е. Б.*) словно пытается применить к литературе приемы философии... (в этой литературе) мы постоянно наблюдаем возвеличение воли, прилагаемой к индукции и анализу. Кажется, будто По желает... присвоить себе монополию на рациональное объяснение...»

[72] *Ансель*, Нарсис Дезире (1801—1888) — юрист, близкий знакомый семьи Бодлера, в 1844 году назначенный опекуном поэта.

[73] 1 апреля 1861 года Бодлер пишет матери: «От самоубийства меня спасло... то, что я должен был составить для тебя подробный список всех моих долгов, а также то, что сперва надо было съездить в Онфлёр, где сложены все мои бумаги, в которых только мне самому под силу разобраться».

[74] Ср. в письме к матери от 11 октября 1860 года: «...меня удерживают две милосердные мысли: о тебе и о Жанне». Бодлер до самого конца продолжал посылать деньги Жанне Дюваль.

[75] Первое послание Павла к Коринфянам. XIII, 1—2.

[76] Цитата из «Замогильных записок» Шатобриана (ч. III, кн. 42, гл. 9).

[77] Ср. в «Поэме о гашише», где о человеке под воздействием наркотика Бодлер говорит: «Не напоминает ли вам мой персонаж Жан-Жака, который, поведав всему миру свою исповедь, — тоже ведь не без некоторой пылкости, — осмелился затем испустить все тот же торжествующий вопль, или по меньшей мере столь же искренний и убежденный? Энтузиазм, с которым он восхищался добром, нервная изнеженность, наполнявшая его взор слезами при виде доброго дела или при мысли обо всех прекрасных поступках, которые он когда-нибудь совершит, позволили ему обрести наивысшую моральную оценку в собственных глазах. Жан-Жак опьянялся и без гашиша» (ИР. С. 46).

[78] Существует еще одна запись этого рецепта, исполненная Бодлером, в которой содержится намек на то, что помимо официального назначения этого отвара (от простуды) имеется еще одно: против истерической рвоты.

[79] В тексте Эмерсона эти слова заключены в кавычки и представляют собой цитату из английского филолога Хорна Тука.

[80] В тексте Эмерсона эти слова также заключены в кавычки и представляют собой парафраз из пророка Иеремии (XLV, 5).

МОЕ ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ

Название третьего раздела (как и первого) Бодлеру подсказал Э. По. Ср. «Маргиналии» Э. По: «Если какому-нибудь честолюбцу придет фантазия одним усилием произвести революцию в сфере человеческой мысли, человеческих убеждений и человеческих чувств, у него есть такая возможность — перед ним открывается прямая, торная дорога к бессмертной славе. Ему нужно лишь написать и выпустить в свет совсем небольшую книжку. Ее заглавие должно быть простым, всего несколько всем понятных слов: „Мое обнаженное сердце“. Но в книжке должно быть использовано все, обещанное заглавием. Еще один, внелитературный источник — суд над Бодлером по поводу „Цветов зла“, где в заявлении г-на Пинара, товарища прокурора на этом суде, прозвучали слова, которые

Бодлер мог воспринять как вызов: „Шарль Бодлер не принадлежит ни к какой школе. Он зависит только от самого себя. Его принцип, его теория — все живописать, все обнажить. Он будет копаться в самых интимных складках человеческой натуры; чтобы ее передать, он найдет энергичный и проникновенный тон, он в особенности преувеличит ее отвратительные стороны; он беспощадно разрушит ее, чтобы создать впечатление, ощущение“» (цит. по: *Baudelaire*. Oeuvres complètes. Paris, 1968. P. 725).

[81] Ср. стихотворение «Гэаутонтиморуменос» (*греч.* — «Сам себя истязающий») (ЦЗ).

[82] Данный фрагмент представляет собой отклик на статью Э. де Жирардена «Спокойствие мира», помещенную в «Ла Пресс» от 8 ноября 1863 года, отрывок из которой Бодлер сопровождает своим ироническим комментарием.

[83] Вслед за Ж. де Местром Бодлер видит в женщине «прекрасное животное». С точки зрения Бодлера все «природное», естественное тяготеет к злу, а добро «всегда является плодом намеренного усилия». Дендизм для Бодлера — результат именно намеренного усилия: он «граничит со спиритуализмом и со стоицизмом», противостоит вульгарной демократии, вызывающей у Бодлера ненависть. Эти мысли с достаточной полнотой высказаны в статье Бодлера «Поэт современной жизни» (Об искусстве. С. 303—313).

[84] В 1858 году Бодлер в одном из писем к матери изъявлял желание получить этот орден, мечтая, по-видимому, о том, что это несколько сгладит неприятные последствия судебного процесса по поводу «Цветов зла».

[85] Среди источников этих «выкладок» можно указать Монтеня: «Мы неспособны сотворить мир: значит, есть некое более совершенное существо, приложившее к нему руку...» (Опыты. II, XII).

[86] Ответ на этот вопрос Бодлер мог найти в подробном исследовании Бенжамена Констана «О религии, ее источниках, формах и развитии» (1824).

[87] Имеется в виду мистицизм орфико-пифагорейский и неоплатоновский. Мысль о том, что язычество и христианство взаимно подтверждают друг друга, много раз высказывалась в сочинениях де Местра.

[88] Бодлер мог прочитать об этом в упоминавшейся выше книге Б. Констана «О религии...», где показано, как религия выходит из суеверия и возвращается к нему. Но главным образом Бодлер присоединяется здесь к точке зрения де Местра, который в книге «Санкт-Петербургские вечера» писал, что су-

еверие — аванпост религии, который не следует разрушать, чтобы люди не приближались вплотную к главным святыням и не покушались на них.

[89] Бодлер принимал живое участие в революции 1848 года, выходил на баррикады и в феврале, и в июне. В воспоминаниях Жюля Бюиссона описано, как после разграбления какой-то оружейной лавки Бодлер под влиянием того же упоения кричал: «Надо пойти да застрелить генерала Опика!» (то есть отчима Бодлера). Отношение Бодлера к революционному духу хорошо проясняет следующий отрывок: «Соглашаясь быть республиканцем, я творю зло и сам это знаю. Да, да здравствует Революция! Как бы то ни было! Несмотря ни на что! Но я не обманываюсь! Я никогда не обманывался! Я говорю: да здравствует Революция! — как сказал бы: да здравствует разрушение! Да здравствует искупление! Да здравствует возмездие! Да здравствует Смерть! Республиканский дух бродит у нас в крови, как сифилис. Мы демократы — и сифилитики» («Бедная Бельгия!»).

[90] 15 мая 1848 года левые республиканцы огромной толпой пришли в Собрание и потребовали защитить Польшу, которая в очередной раз была усмирена Россией. Манифестанты чуть не разогнали временное правительство.

[91] Имеются в виду жестокие репрессии, наступившие вслед за июньским мятежом.

[92] Эти три абзаца кратко отражают эволюцию мыслей Бодлера между декабрем 1851 года (государственный переворот) и тем моментом, когда делалась эта запись. Подход Бодлера в последнем абзаце близок к воззрениям Ж. де Местра.

[93] У Бодлера был своеобразный культ Робеспьера, которого он чтил за спиритуализм, трагическую судьбу и своеобразный дендизм. Он хранил портрет своего героя и охотно его цитировал.

[94] Вот как пишет Бодлер о годах, которые провел в колледже Э. По, вероятно, имея в виду и себя самого: «Часы в карцере, горести детских болезней и заброшенности, запугивания учителя, нашего врага, ненависть деспотичных товарищей, сердечное одиночество...» («Эдгар По, его жизнь и творчество»).

[95] Ср. цитату из книги «Suspiria» Томаса Де Квинси, которую Бодлер приводит в эссе «Поэма о гашише»: «Ужас жизни в самом раннем детстве смешался для меня с ее небесной нежностью» (ИР. С. 131).

[96] В статье «Виктор Гюго» (1861) Бодлер, приводя в расширенном виде примерно тот же список одолевавших его ро-

ковых вопросов метафизического характера, замечает: «Описывая то, что есть, поэт деградирует и опускается до уровня учителя; рассказывая то, что возможно, он остается верен своей задаче; поэт — это коллективная душа, которая вопрошает, плачет, надеется и иногда угадывает».

[97] По всей видимости, имеются в виду «республиканская» религия, культивируемая газетой «Сьёкль», и насаждаемое ею поклонение великим людям. При всем несходстве Мольера, Беранже и Гарибальди их объединяют вольнодумие и атеизм.

[98] Для Бодлера бельгийцы были воплощением обывателей. Памфлет «Бедная Бельгия!» изобилует характеристиками, близкими этому фрагменту. Следует, однако, принять во внимание, что не более лестно, чем о бельгийцах, Бодлер отзывался и о французах, и об американцах — современниках Э. По, а в других странах, кроме Франции и Бельгии, никогда не бывал. Пребывание поэта в Бельгии в 1864—1866 годах было крайне тягостным: Бодлер был болен, литературные планы и надежды не оправдывались, что не могло не отразиться на восприятии поэта.

[99] Театр занимал важное место в жизни Бодлера. В детстве он мечтал стать актером — см., например, стихотворение в прозе «Призвания», на протяжении всей жизни вынашивал замыслы различных театральных пьес, так и не осуществившиеся, и любил театральную атмосферу.

[100] Этими замечаниями Бодлер метит в Ж. Санд и Э. де Жирардена. Ср. в статье «Эдгар По, его жизнь и творчество»: «Что бы подумал он... о чувствительной теологине, из дружбы к человечеству отменяющей преисподнюю, о расчетливом философе, предлагающем систему страхования, подписку по одному су с носа для отмены войны — и уничтожение смертной казни и орфографии, эти два сравнимые между собой безумства!»

[101] Бодлер, горячий поклонник творчества Вагнера, в «Ревю Эропеэн» от 1 апреля 1861 года опубликовал статью «Рихард Вагнер», где одобрительно отозвался о «жене одного иностранного посла», которая «открыто поддержала» вагнеровского «Тангейзера». Речь шла о княгине Меттерних, которая не питала к Бодлеру благодарности за эту похвалу, и когда его друг Надар принес ей экземпляр статьи, она вернула его неразрезанным.

[102] Бодлер не написал ни той, ни другой истории. Рассказывая о переводах из Э. По, он, возможно, собирался упомянуть о том, как ему пришлось передать все права на их издание за смехотворно низкую сумму издателю Мишелю Леви.

Второй замысел отражен в списке задуманных критических статей, где озаглавлен «„Цветы зла“, судимые самим автором» и «Биография „Цветов зла“».

[103] *Рис*, Атаназ Луи *Клеман де* (1820—1882) — критик и историк искусства. В его труде «Критика изобразительного искусства и литературы» (1862) имеется выпад против Бодлера. Поэт не был назван по имени, но узнал себя. Критик *Кастаньяри*, Жюль Антуан (1830—1888), опубликовавший у Пуле-Маласси книгу «Философия Салона 1857 года», считал искусство цивилизующей силой и ратовал за «моральность искусства», за «воспитание масс» искусством.

[104] Эта запись — итог общения Бодлера с издателями, от которых зависела судьба его публикаций. Так, например, Эдуард Ле Барбье, издатель «Ревю либераль», в письме к И. Тэну от 19 января 1864 года сообщает: «Бодлер не был ни лоялен, ни вежлив. Он толковал мне о тупой посредственности, поскольку я имею честь принадлежать к Эколь Нормаль, и грубо отказался произвести необходимые сокращения». В 1865 году, 9 марта, Бодлер пишет матери: «Я устал от газетчиков, от невежд, пачкунов, главных редакторов и их тупой посредственности. Бедолаги не любят тупиц».

[105] *Франсуа*, Фердинан (1806—1868) — главный редактор «Ревю эндепандант»; *Бюлоз*, Франсуа (1803—1877) — основатель и редактор «Ревю де Дё Монд», где в 1855 году были опубликованы 18 стихотворений Бодлера; в дальнейшем произведения Бодлера отвергались. Арсен *Уссе* в 1862 году начал публиковать стихотворения в прозе Бодлера, но публикация была прервана, когда выяснилось, что некоторые тексты были напечатаны раньше. *Руи*, Клод Эрнест Анри (1826—1878) — сотрудник «Ла Пресс», требовавший, чтобы Бодлер вносил в свои тексты исправления; *Де Калонн*, Альфонс Бернар (1818—1902) — директор «Ревю контампорен», также добивавшийся от Бодлера поправок и сокращений; *Шарпантье*, Жерве (1805—1871) — издатель «Ревю насьональ э этранжер», где были после исправлений напечатаны два стихотворения в прозе; *Шевалье*, Огюст (1809—?) — политический и литературный редактор «Конститюсьонель» и «Пеи».

[106] Жозеф *Прюдом* — герой нескольких книг Анри Монье (1799—1877), воплощение ограниченного и самодовольного буржуа, наделенного всеми возможными предрассудками и тягой к назиданиям.

[107] Жорж Санд писала о своей матери в мемуарах «История моей жизни» (1854—1855), а о рабочих — в предисловиях к «Стихотворениям» Ш. Понси (1846) и к книге «Рабочие рассказчики» Гийанда (1849), произведениям писателей-рабочих.

[108] В предисловии к роману «Мадемуазель Ла Кентини» (1863) (не исключено, что из всего романа Бодлер прочел одно предисловие) Жорж Санд в самом деле отвергает некоторые церковные догматы, в том числе и вечные муки в аду, призывая в единомышленники всех «честных людей, считающих себя католиками». «Бог хороших людей» — знаменитая песня Беранже, к которому Бодлер относился неприязненно.

[109] Реминисценция из эпиграммы Алексиса Пирона «Против Вольтера»: «Вольтер, король зевак...»

[110] Персонажем французского фольклора и ярмарочных представлений является Мамаша Жигонь, символ поразительной плодовитости.

[111] Имеется в виду повесть Вольтера «Уши графа Честерфилда и капеллан Гудман» (1775).

[112] То есть с заимствованием типических черт у различных реальных лиц.

[113] *Элиан*. История животных. IX, 62. Ср. в «Письме к Жюлю Жанену»: «Почему бы поэту и не быть не только кондитером, но и изготовителем ядов, человеком, разводящим змей...» (Oeuvres. T. 2. P. 238).

[114] Ср. одну из «прекрасных фраз» Робеспьера, которую Бодлер цитирует в «Поедателе опиума»: «Человек при виде человека всегда чувствует удовольствие» (ИР. С. 68).

[115] *Дюрандо*, Эмиль и *Даржу*, Альфред — карикатуристы, сотрудничавшие в газете «Бульвар», в которой печатался Бодлер. Упомянутая речь была, скорее всего, произнесена в 1864 году, когда флот союзников обстреливал японский порт Симоносеки.

[116] *Матье*, Гюстав — знакомый Бодлера, шансонье и издатель малотиражного журнальчика «Жан Резен».

[117] В этой слегка окарикатуренной зарисовке Бодлер, скорее всего, запечатлел облик приятеля своей юности, Филиппа де Шенневьера, которого время от времени навещал; достигнув преуспеяния, Шенневьер не отказался от непритязательного и патриархального образа жизни.

[118] *Наккар-отец* был лечащим врачом Бальзака. Бодлер не поладил с ним, когда в 1851 году пытался получить доступ к бумагам Бальзака. *Наккар-сын* был одним из судей на процессе над Бодлером в 1857 году.

[119] *Бертен*, Жан Луи Апри (1806—?) — юрист, издатель журнала «Друа» («Право»).

[120] *Госпожа Мюллер* — по-видимому, жена Клемана Мюллера, редактора одной из льежских газет.

[121] *Дамьен*, Робер Франсуа (1715—1757) 5 января 1757 года совершил покушение на Людовика XV. Его казни предшествовали жесточайшие пытки.

[122] Эта запись сближается со многими критическими произведениями Бодлера, в частности со статьей «Честные драмы и романы», где Бодлер обрушивается на «школу здравого смысла», «поэзию сердца» и чувствительность «сентиментальных гризеток», видя во всем этом формы лицемерия.

[123] Ср. слова Бодлера о Делакруа, вызывавшем в нем не только художественное, но и человеческое восхищение: «...уже задолго до своего конца Делакруа исключил женщину из своей жизни. Будь он мусульманином, он, возможно, и не изгнал бы ее из мечети, но сильно удивился бы, увидев ее там и не понимая, о чем может она беседовать с Аллахом» (Об искусстве. С. 272—273).

[124] Запись отражает эстетический идеал Бодлера, идеал дендизма; подобная глава была написана: это «Похвала косметике», входящая в статью «Поэт современной жизни». Бодлер предваряет ее так: «Здесь, мне кажется, уместно... взять под защиту искусство украшать себя и отомстить за нелепую клевету, возводимую на него иными весьма сомнительными поклонниками естественности» (Об искусстве. С. 307).

[125] Отношение Бодлера к *Ренану* менялось — от одобрительного (заметка «Леконт де Лиль») до критического. *Фейдо*, Эрнест (1821—1873) — писатель, в 1858 году опубликовал роман «Фанни», имевший большой успех, но резко осужденный Бодлером (см. письмо Бодлера к матери от 11 декабря 1858 года); *Октав Фейе* (1821—1890) — писатель, весьма популярный у буржуазной публики, соученик Бодлера по коллежу; *Шолль*, Орельен (1833—1902) — писатель и журналист, с 1863 года главный редактор журнала «Нэн жон», где Бодлер надеялся опубликовать статью «Поэт современной жизни».

[126] *Тексье*, Эдмон (1815—1887) — главный редактор «Иллюстрасьон»; *Солар*, Аарон Эриаль (Феликс) (1811—1870) — журналист и финансист, сотрудник «Л'Эпок», «Мессаже де л'Ассамбле» и «Ла Пресс»; *Тюрган*, Жюльен (1824—1887) — ответственный издатель «Монит юниверсель»; *Даллоз*, Поль (1829—1887) — издатель «Монитор».

[127] *Надар* (наст. имя — Феликс Турнашон; 1820—1910) — живописец, карикатурист, фотограф, аэронавт, газетчик и романист, друг Бодлера с 1841 или 1842 года.

[128] *Вейо*, Луи (1813—1883) — католический публицист, не щадивший Бодлера в своих отзывах. Вейо, так же как и Бодлер, был дружен с Надаром, поэтому можно предположить, что эта запись, как и предыдущая, сделана под впечатлением встречи Бодлера с ними обоими.

[129] Бодлер мог искать ответ на этот вопрос в книге «Гений христианства» Шатобриана. Школа александрийцев в середи-

не XIX века вновь привлекла к себе внимание философов; идеи Плотина вошли в обиход христианской мысли. Не совсем понятно в этом контексте имя *Капе*. Возможно, имеется в виду журналист Эжен Капе (1839—?).

[130] Друг Бодлера Ипполит Бабу приводит отрывок речи, произнесенной Жирарденом в Сорбонне: «Господа, если вы хотите быть счастливы в этом мире, более того, если мы хотим быть порядочными людьми, — будем отменно... что же? гениальны? будем реформаторами, новаторами, пророками, исключительными натурами?.. Нет, господа... Будем заурядны!!! (Бурные аплодисменты)». См. также заметку «Годовщина рождения Шекспира», где Бодлер называет Жирардена «омерзительным льстецом заурядной молодежи» (Oeuvres. T. 2. P. 227).

[131] Ср. дневник Делакруа, запись от 22 мая 1853 года: «Человек прогрессирует во всех отношениях, он подчиняет себе материю. Это неоспоримо, но он не научается управлять собой. ⟨...⟩ Уничтожьте прежде всего дурные страсти, не потерявшие своей ненавистной власти над сердцами несмотря на все братолюбивые и либеральные лозунги эпохи! Вот в чем проблема прогресса и даже истинного счастья» (Дневник Делакруа / Пер. Т. Пахомовой. М., 1950. С. 279). Вполне возможно, что Бодлер и Делакруа беседовали на эту тему.

[132] Ср. стихотворение в прозе «Пес и флакон».

[133] Первая редакция книги Ашиля *де Волабеля* «История двух Реставраций» в 7-ми томах вышла в 1844—1845 годах. Роль Жозефины в упомянутом эпизоде времен Реставрации заключалась в том, что она помогла матери вызволить из тюрьмы отца, обвиненного в заговоре против короля. Знаменитый побег состоялся 20 декабря 1815 года.

[134] Эта острота Готье, скорее всего, записана с его слов: в произведениях Готье она не обнаружена. Известно, что Бодлер придавал орфографии большую важность и не одобрял ее нарушений.

[135] *Форг*, Поль Эмиль Доран (1813—1883) — журналист, писавший под псевдонимом Old Nick, в 1846 году в газете «Ле Коммерс» опубликовал перевод новеллы Э. По «Двойное убийство на улице Морг», не упомянув имени автора.

[136] *Барбес*, Арман (1809—1870) — французский политический деятель демократического направления, в 1849 году был заключен в тюрьму, в 1854 году вышел на свободу и покинул Францию. *Луи Филипп* (1773—1850) — с 1830 года король французов, лишился трона в ходе Февральской революции 1848 года и бежал в Англию.

[137] Ср. цитированное выше «Письмо к Жюлю Жанену»: «Неужели вы и впрямь уверены, что пышные похороны под-

утверждают талант или порядочность покойника (я-то полагаю, что дело обстоит как раз наоборот и что пышных похорон удостаиваются только прохвосты да глупцы)».

138 Отец поэта, Франсуа Бодлер, был художник-любитель и с раннего детства привил сыну любовь к изобразительному искусству, которой тот оставался верен всю жизнь. Ср. в «Салоне 1859 года»: «...с ранней молодости мои глаза, влюбленные в живопись и графику, не ведали насыщения, и, думается мне, скорее рухнет мир... чем я стану иконоборцем» (Об искусстве. С. 194).

139 Этот замысел отразился в стихотворении «Цыганы» (ЦЗ) и стихотворении в прозе «Призвания».

140 *Поль Периньон* (1800—1855) — адвокат, депутат парламента, почтенный буржуа, был сыном Пьера Периньона, воспитывавшего сироту Каролину Дефаи, будущую мать Бодлера. Поль Периньон участвовал в семейном совете, в 1844 году решившем обратиться в судебные органы для установления опеки над состоянием молодого Шарля.

141 Запись связана с мотивами стихотворения в прозе «Призвания».

142 Литератор Эрнест *Легуве* (1807—1903) в своей статье «Почетный крест и актеры» (1863) выражал сожаление, что *Сансон*, известный комический актер, основатель Общества драматических артистов и профессор консерватории, не был награжден орденом. На следующий год Сансону был вручен орден, но лишь за его педагогическую деятельность. Мнение Бодлера по этому поводу близко к точке зрения Банвиля, который пишет в книге «Мои воспоминания»: «Истинными артистами были только те, которые оставались деклассированными, и никто и ничто в мире не могло им в этом помешать; те, которым общество не в силах было присвоить ранг, коего они заслуживали, — разве только возвести их на трон».

143 Ср. стихотворение в прозе «Великодушный игрок».

144 Этот фрагмент созвучен размышлениям Бодлера в эссе «Поедатель опиума»: «Некий гениальный сумасброд, мизантроп и меланхолик, желая отомстить проклятому веку за все его жестокости, швыряет в огонь свой все еще рукописный труд, бывший его великой надеждой. Когда у него спросили, зачем нужна была эта дикая жертва собственной ненависти, он спокойно ответил: „Какое мне дело? Главное, что все эти вещи были мною созданы. Раз они были, значит, они есть“. ...Ни духовное, ни материальное не исчезает из мира» (ИР. С. 122).

145 *Эмиль Дуэ* — композитор, ныне забытый. Бодлер связывал с ним некоторые свои творческие планы. Возможно, что

эпизод с творцом, разрушившим свое творение, описанный в «Поедателе опиума» (см. предыдущее примеч.), произошел именно с Дуэ.

[146] Бодлер имеет в виду следующий отрывок из книги Ренана «Жизнь Иисуса»: «Человек, не имеющий понятия о физических законах, верящий, что путем молитвы он может изменить движение облаков, остановить болезнь и даже смерть, не видит в чуде ничего необычайного, поскольку для него весь порядок вещей зависит от свободных велений Божества. Таков был умственный уровень Иисуса всю его жизнь» (*Ренан Э.* Жизнь Иисуса. М., 1991. С. 89).

[147] *Ньеверкерке*, Альфред Эмилиан, граф де (1811—1892) — скульптор и государственный деятель, с 1849 по 1870 год генеральный директор музеев. Будучи поборником нравственности, добивался того, чтобы нагота музейных экспонатов была прикрыта.

[148] «*Роланд*» — стихотворение Наполя Пиренейского (псевдоним Наполеона Пейра, поэта, священника и историка; 1809—?).

[149] *Менар*, Франсуа (1582—1646), *Ракан*, Онора де (1589—1670) — французские поэты.

[150] *Филоксен Буайе* (1829—1867) — поэт и драматург, знакомый Бодлера.

[151] *Луи Блан* (1811—1882) — французский публицист, историк и политик.

[152] Цитируемый девиз заимствован у Ювенала (Сатира IV). Ж.-Ж. Руссо процитировал его в «Письме к г-ну Даламберу о театральных представлениях», а также взял эпиграфом к «Письмам с горы». Об отношении к этому девизу Луи Блана неизвестно. Зато он был оттиснут на воске, которым Ж. Санд запечатала письмо к Бодлеру. По этому поводу Бодлер в письме к Пуле-Маласси выражает свое негодование, ссылаясь на мысль Ж. де Местра, высказанную им в «Опыте об основном принципе политических конституций», где де Местр указывает на лживость и лицемерие этой формулы.

[153] *Эдуар Гарде* — друг Бодлера.

[154] *Фран-Карре* — современник Бодлера, чиновник судебного ведомства.

[155] *Абу*, Эдмон (1828—1885) — литератор и публицист.

[156] *Ламадлен*, Жюль де (1820—1859) — писатель.

[157] *Эскирос*, Альфонс (1814—1876) — поэт, друг Бодлера.

Елена Баевская

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Яснов. Человек толпы 5

ШАРЛЬ БОДЛЕР

Стихотворения в прозе (Парижский сплин) 19
Фанфарло 105
Дневники 139

Комментарии (*Е. Баевская*) 197

Шарль Бодлер

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
(Парижский сплин)
ФАНФАРЛО
ДНЕВНИКИ

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Библиотека зарубежного поэта»

Редактор издательства *Т. Л. Ломакина*
Художник *Е. В. Кудина*
Технический редактор *И. М. Кашеварова*
Компьютерная верстка *Л. Н. Напольской*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 2.10.09. Подписано к печати 25.07.11.
Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13.4. Уч.-изд. л. 11.9.
Тираж 1000 экз. Тип. зак. № 3323. С 121

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.com

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-025412-1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА «НАУКА» РАН

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА ЗАРУБЕЖНОГО ПОЭТА»

ПОЭЗИЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО МОДЕРНИЗМА

Латиноамериканский модернизм — литературное течение, существовавшее в испаноязычных странах Нового Света в последнее двадцатилетие XIX—первое двадцатилетие XX века. Во второй половине XIX столетия поэзия в Латинской Америке переживала кризис; тон в ней задавали эпигоны романтизма, уже давно изжитого в европейских литературах. Модернисты ввели в испаноязычную поэзию новые формы, ритмы, темы. Страстные приверженцы красоты, они сумели соединить слово с музыкой и живописью. И стали первыми из писателей Латинской Америки, чье творчество получило всемирную известность.

Общепризнанным вождем латиноамериканского модернизма стал никарагуанец Рубен Дарио. Он сумел объединить молодых поэтов разных стран в творческое сообщество. Это чрезвычайно благотворно сказалось на дальнейшем развитии каждой национальной литературы латиноамериканского континента. Модернисты во многом были литературными учителями и Борхеса, и Кортасара, и Гарсия Маркеса.

В нашей стране творчество наиболее видных поэтов-модернистов хорошо известно. Так, например, в России неоднократно выходили книги Рубена Дарио и Хосе Марти. Но антологий, охватывающих — с максимально возможной полнотой — все этапы латиноамериканского модернизма, на русском языке еще не издавалось ни разу.

Многие переводы в данной антологии публикуются впервые.

Ознакомиться с информацией об Издательстве, планах выпуска и наличии книг для реализации можно на сайте Издательства www.naukaspb.spb.ru.

ШАРЛЬ БОДЛЕР